

ХЛЯБЬ ОБЕТОВАННАЯ

СВОД I



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

ПАРХОМ ГЫПОПО

Пархом Гыпопо

Хлябь Обетованная. Свод

<https://litres.ru/74268452>

SelfPub; 2026

Аннотация

Смерть — это не конец. Это попадание.

Мир, где материя держится на воле. Где тела существуют, пока душа тратит себя на их поддержание. Где города — это язвы внутри гигантского организма, пытающегося переварить человеческое сознание.

Здесь нет прогресса. Форма распадается быстрее, чем её успевают создать. Технологии невозможны — их стирает коллективное недоверие. Письменность бессмысленна — бумага гниёт быстрее, чем высыхают чернила. Деньги тают, если их не тратить. Еда — это чужое воспоминание о вкусе.

Выжить можно только в городе. Но за стенами — туман, дороги-шрамы и охотники на свежих. А внутри — элита, жаждущая новых тел, и толпа, сжигающая остатки себя ради ещё одного дня.

Это не ад. Это не чистилище. Это желудок. И ты — его пища. Добро пожаловать в Хлябь.

Содержание

2. Хлябь Обетованная. Свод.	5
1.	21
2.	39
3.	56
4.	70
5.	84
6.	97
Конец ознакомительного фрагмента.	103

Пархом Гыпопо

Хлябь Обетованная. Свод

Смерть — это не конец. Это попадание.

Мир, где материя держится на воле. Где тела существуют, пока душа тратит себя на их поддержание. Где города — это язвы внутри гигантского организма, пытающегося переварить человеческое сознание.

Здесь нет прогресса. Форма распадается быстрее, чем её успевают создать. Технологии невозможны — их стирает коллективное недоверие. Письменность бессмысленна — бумага гниёт быстрее, чем высыхают чернила. Деньги тают, если их не тратить. Еда — это чужое воспоминание о вкусе.

Выжить можно только в городе. Но за стенами — туман, дороги-шрамы и охотники на свежих. А внутри — элита, жаждущая новых тел, и толпа, сжигающая остатки себя ради ещё одного дня.

Это не ад. Это не чистилище. Это желудок. И ты — его пища.

Добро пожаловать в Хлябь.

2. Хлябь Обетованная. Свод.

0.

... Серебро. Маленькое, плоское. Что-то на цепочке, размером с ноготь большого пальца. Узкая ладонь крутила его медленно, без интереса — большой и указательный, потом обратно. Не для того, чтобы рассмотреть. Просто пальцам надо было что-то делать.

Запястье узкое. Кожа гладкая, бледная. Тёмная ткань рукава, плотная, с тяжёлой подкладкой, спускалась почти до косточки.

Она стояла у дальней стены гримёрной. Руки скрещены на груди, безделушка между пальцами правой. Высокая. Тёмные волосы собраны в тяжёлый узел на затылке, у виска выбилась прядь — лежала вдоль шеи, как кто-то её положил. Длинные ресницы прикрыты — то ли скучала, то ли просто моргнула в неподходящий момент. Над верхней губой слева — тёмная точка родинки. Маленькая, круглая, чёткая — словно поставленная нарочно, в самое выгодное место. Мужской взгляд на ней спотыкался и не сразу шёл дальше — отвлекался, забывал, куда смотрел, начинал заново. Лицо такое, на которое нельзя смотреть мельком — взгляд за него цеплялся и не сразу отпускал. Смотрела на работу, шедшую

у кресла.

У кресла возились трое. Молодые, тонкие, в одинаковых серых халатиках. Порхали вокруг сидящего, как мухи вокруг сладкого — тихие, быстрые, у каждой свой инструмент. У одной поднос с баночками, в каждой пигмент своего цвета. У другой пучок кистей, зажатых веером в кулаке. У третьей — салфетки и щипчики.

В кресле сидел мужчина.

Белая туника. Голова откинута на высокую спинку, глаза закрыты. Лицо костистое, выбритое, и без них уже хорошее — резкая скула, тяжёлое надбровье, тонкие губы. Они наводили марафет поверх лица, которому марафет был не очень-то и нужен. Но раз положено — наводили.

Одна из троих наклонилась. Близко. Слишком близко — выдох её щекотнул бы ему щёку, если бы она ещё дышала вслух. Она не дышала. Задержала. На крыле носа, под самой ноздрёй, скатался комочек — маленький, белёсый, как капля свернувшегося молока. Тонкой кистью, кончиком в один волос, она повела по нему. Сняла. Перенесла на тыльную сторону ладони. Выпрямилась. Только тогда — вдох, осторожный, через нос.

Лицо под её работой не дрогнуло.

Шёпот. Не слова — придыхания.

— Господин... позвольте сюда...

— Господин, ещё чуть-чуть...

— Готово, господин.

Они не смотрели ему в глаза. Смотрели на скулу, на висок, на крыло носа. Лицо — рабочая поверхность. Если бы он открыл глаза, они опустили бы свои.

На туалетном столике лежало зеркало.

Большое, с резной ручкой из чёрной кости. Кость была потёрта — чьи-то прижизненные пальцы вцеплялись в неё годами. Кто-то держал его до того момента, как провалился сюда. Здесь пальцы разжали уже потом. Само зеркало — серебряное, тяжёлое, в обводе из мелких цветов. Лежало рукояткой к креслу, лицом вниз. Никто на него не смотрел. Девочки работали не по отражению — по живому лицу, наизусть.

— Достаточно, — сказал мужчина в кресле.

Голос ровный. Низкий. Без раздражения.

Те, что вокруг кресла, замерли. Та, что с кистями, тихонько присела. Та, что с подносом, попятилась на полшага. Третья сделала последний штрих — поправила тень у виска, едва коснувшись — и отступила.

— Идите.

Три серых халатика склонились в коротких поклонах. Развернулись. Ушли. Шорох ткани, лёгкий стук пузырьков на подносе. Дверь закрылась за ними — глухо, плотно.

Тишина.

У дальней стены безделушка в её пальцах сделала ещё один оборот.

Мужчина в кресле открыл глаза.

— Ты помнишь о моей просьбе?

Она не ответила сразу.

— Про ещё одну маску?

— Да. Про неё.

Пауза.

— Для меня это важно.

Она молчала.

— Скульптор работает. Мы со скульптором — на правильном пути. Образ скоро будет готов.

Она молчала. Безделушка ещё один оборот.

— Ты помнишь, что обещал. Ты обещал мне эту маску.

— Помню.

— Сделаешь?

— Сделаю.

Она хмыкнула. Коротко, через нос. Отвернувшись от стены, пошла к двери. Вышла. Дверь закрылась.

ooo

... Стекло. Зелёное, толстое. Фольга на горлышке — помятая, будто кто-то сжимал и передумал.

Бутылка оттягивала руку. Дорогая. Француз вылепил её на совесть — он видел, как старик трясся над заготовкой, зажмурившись, перебирая пальцами воспоминание о каком-то погребке в Реймсе. Шампанское здесь пенилось иначе. Оседало на языке липкой, сладкой тяжестью, от которой немели дёсны.

В левом кармане пиджака лежала настоящая вещь.

Тяжёлая. Холодная.

Серебряная пудреница с маленьким зеркальцем внутри. По краям — остатки земной пудры, бежевой, спрессованной в мелких трещинках. Безделушка первого порядка. Оттуда. Зеркало в Хляби — штучный товар. Три скарабея сползли со шнурка ожерелья, покинули насиженное тепло на его груди. Аукцион в Своде. Не для бедных.

Бред. Сумасшествие.

Но она любила такие вещи.

Дверь открылась до того, как он поднял руку.

Свеча.

Он увидел её первой — толстая, белая, стояла на низком столике у дивана. Фитиль нетронутый. Раньше, в другой жизни, он бы не обратил внимания. Раньше свечи горели. Здесь — нет. Здесь огня не было и быть не могло, ни один скульптор не слепит пламя, оно живое, оно каждую секунду другое, его нельзя вспомнить как вещь. Свеча в Хляби — это мебель. Мёртвый столбик воска, который никогда не выполнит своего единственного предназначения.

Он каждый раз хотел спросить. Зачем.

Она стояла за свечой, чуть дальше, в дверном проёме. Тонкая ткань обтекала бёдра, лепилась, как мокрая. Волосы убраны наверх, шея открыта. Длинная. Улыбка — кривоватая, сонная.

Живот подобрало.

— Шампанское, — сказал он. Поднял бутылку. — Насто-

ящее. Ну, почти.

Она отступила, пропуская. Комната пахла чем-то тёплым. Сандал. Или то, что здесь считалось сандалом — чья-то память о запахе, пойманная в раму и медленно тающая. Раньше, в Нью-Йорке, он различал духи по брендам. Chanel, Guerlain, Shalimar. Здесь всё было проще и честнее: либо пахнет, либо нет. Если пахнет — значит, хозяин ещё держит реальность. Значит, ещё жив по-настоящему.

Она пахла.

Бокалы. Два. Мутноватые, чуть кривые — лапильщик, не формовщик, работа средняя. Она достала их с полки привычным жестом, не глядя. Поставила. Фольга захрустела под его пальцами. Пробка вышла глухо, без хлопка — здешнее шампанское не стреляло, не умело, как будто воспоминание о давлении внутри бутылки было недостаточно точным.

Он разлил. Пузырьки. Крупные, ленивые, не как настоящие. Они поднимались медленно, будто тоже устали. Шампанское, которое не совсем шампанское, в бокалах, которые не совсем бокалы, в мире, который не совсем мир.

Сели.

Низкий диван. Она подобрала ноги, повернулась к нему боком. Бокал в длинных пальцах. Глоток. Он смотрел, как двигается её горло.

... Родинка над верхней губой. Слева. Маленькая, тёмная, чёткая. Он знал её наизусть. Каждый раз — будто впервые. Эта точка делала с ним что-то, чего он не понимал и не пы-

тался понять. Тянула. Каждый раз, когда она пила, или говорила, или просто молчала — он смотрел на родинку, и внутри что-то поджимало. Хотелось дотронуться. Языком. Только бы убедиться, что она настоящая, что она здесь, что она его.

— Зачем тебе свеча? — спросил он.

Спросил наконец. Каждый раз собирался и каждый раз забывал, потому что она делала что-нибудь — поправляла волосы, касалась его колена, — и вопрос соскальзывал.

Она посмотрела на белый столбик воска. Усмехнулась. Не весело — задумчиво. Провела пальцем по нетронутому фитилю.

— Жду.

— Чего?

— Кого.

Пауза. Он отпил. Пузырьки лопались на языке — мелко, щекотно.

— Здесь нет огня, — сказал он. Мягко, снисходительно. Раньше, в зале суда, этим тоном он объяснял присяжным очевидное. — Ты это знаешь лучше меня.

— Знаю.

— Тогда зачем?

Она пожала плечом. Одним. Ткань соскользнула, обнажив ключицу.

— Верю в чудо. Найдётся кто-нибудь, от кого она вспыхнет.

Глупость. Детская, сладкая чушь. Они оба это понимали. Она улыбнулась — открыто, без защиты. Он засмеялся. Коротко, через нос.

Но где-то внутри, в том месте, где раньше жил нью-йоркский лоск, а теперь жило только голое, ненасытное тщеславие, — что-то шевельнулось. Тёплое. Тупое. Знакомое.

Он подумал: «А вдруг — я».

Не додумал. Отпил ещё. Шампанское ударило в голову — мягко, лениво, как здесь всё. Раньше он пил Veuve Clicquot на крышах Манхэттена, и город гудел внизу, и он чувствовал себя хозяином. Здесь крыш не было. Здесь вообще не было верха. Но ощущение — то же самое. Я — наверху. Я — главный. Я беру то, что хочу.

Ирония. Сарказм, тонкий, привычный. Пинг-понг, в котором он всегда оставлял за собой последний удар. Она смеялась, запрокидывая голову. Шея. Белая, открытая.

Он смотрел на жилку. Пульсировала.

Думал о том, как методично, как красиво он приручил эту закрытую, дикую женщину. Вскрыл. Отмычка за отмычкой, месяц за месяцем, и вот она — сжата в кулаке, тёплая, послушная, его.

Раньше он приручал жюри. Коллег. Женщин на благотворительных вечерах. Здесь — то же самое. Другие декорации, те же правила. Он — хищник. Он так думал.

Он не знал, что за глухой матовой стеной, в соседней комнате, сидит на полу ребёнок.

Мальчик. Ноги скрещены. В расширенных зрачках отражалось то, чего не видел, не мог видеть самоуверенный хищник с бокалом шампанского.

Две прозрачные сферы.

Сфера адвоката была кристально чистой. Идеальная вода. Никакой мути. Никаких сгустков сомнения или инстинкта самосохранения. Тщеславие и похоть очистили эту среду лучше любых фильтров, любой химической сыворотки. В прозрачной толще беззащитно, как на ладони, пульсировали яркие узлы его синапсов. Абсолютная открытость. Заходи и бери.

Простыня. Смятая, влажная.

Он навис над ней. Мышцы спины налились дурной, тяжёлой кровью. Она выгнулась навстречу. Длинные ногти скользнули по его лопаткам, оставляя горячие полосы.

Она притянула его к себе. Он почувствовал её упругие соски под своей грудью. Губы у самого уха. Жаркий, влажный шёпот.

— Войди в меня... Я так ждала этого момента... Я поглощу тебя... полностью.

Гордость плеснула в голову горячей волной. Он выдохнул. Рвано, слепо. Отдался инстинкту, падая в неё всем своим весом, всем своим непомерно раздутым «я».

Две невидимые сферы столкнулись и слиплись краями. За стеной мальчик улыбнулся.

Поднял руку. Взял светящийся хрустальный шарик из ле-

вой, женской сферы. Осторожно перенёс в правую. Внутри правой били тонкие, слепые, разноцветные фонтанчики струй — нервные узлы, пустые порты приёмника. Мальчик опустил бледно голубой шарик на вершину струи такого же цвета. Шарик затанцевал на воде, поймал баланс. Сел на мертво. Ментальный драйвер встал в паз.

Хорошая игра. Понятная. Мальчик потянулся за следующим шариком. Он перебрасывал их из одной сферы в другую.

... Воздух. Обжёг горло. Оргазм обрезало, будто острым лезвием.

Тело на кровати дёрнулось, выгибаясь. Спазм. Неправильный. Мышцы сократились не там, где должны. Центр тяжести сместился вниз, впёлся в таз. Грудину сдавило тяжестью. Он попытался сделать глубокий вдох — горло выдало тонкий, жалкий сип. Чужой. Женский.

Он попытался сжать кулаки. Тонкие пальцы царапнули мокрую простыню. Внизу, между бёдер — зияющая, влажная пустота вместо привычной тяжести.

Ужас. Не мысль — звериный, животный рефлекс. Комок льда рухнул на самое дно желудка.

Он распахнул глаза.

Над ним нависал мужчина. Широкие плечи. Знакомый шрам над правой ключицей.

Его плечи. Его шрам.

Он смотрел в своё собственное лицо. В свои карие глаза

с золотистой крапинкой. Но взгляд...

Взгляд был чужим. И до одури знакомым.

Этот тяжёлый, затягивающий, тёмный взгляд. Так она смотрела на него секунду назад с помятой подушки. Так смотрела его любовница, когда выгибалась под ним, когда дышала ему в шею, когда шептала свои последние слова.

Женщина, которую он только что имел, теперь смотрела на него из-под его собственных бровей. С тысячелетним, хирургическим холодом.

Мужчина поднял руку. Свою руку. Большой палец с коротко остриженным ногтем лёг на её — его? — лоб. Кожа к коже.

Голос. Его собственный бархатный баритон, которым он выигрывал суды и ломал чужие судьбы. Теперь он звучал извне.

— Спи.

Слово упало, как бетонная плита. Тяжёлая, глухая волна ударила в мозг.

Сфера захлопнулась. Интерфейс был распахнут настежь долгими месяцами мнимого превосходства, прозрачная вода не дала ни единого шанса на сопротивление. Гипноз вошёл как нож в масло.

Мысли дёрнулись, распадаясь на куски.

Я в ней. Моя любовница... во мне. Забрала.

Темнота обрушилась сверху, стирая сознание.

Эреб моргнул новым, непривычно тяжёлым веком. Убрал

руку со лба спящей женщины. Сжал чужие кулаки. Пошевелил пальцами.

Сидят идеально.

Свеча стояла на столике. Белая. Нетронутая.

ooo

...Волосок. Один, тонкий, рыжеватый — выпал из кисти, лёг на выбритую скулу. Кисть прошла мимо, не заметила. Волосок остался. Подрагивал от чужого дыхания над ним.

Девочка склонилась. Близко, не дыша, задержав воздух в груди. Кончиком кисти, в один волос, сняла лишнее. Выпрямилась. Тогда — вдох, через нос.

Гримёрка. Воздух спёртый, плотный. Пахло смолой, тяжело, душно. Ладан, что ли.

Над креслом порхали три девочки в серых халатиках — тихие, быстрые. Поднос с пигментами. Веер кистей. Щипчики, салфетки. В кресле, под их руками, кто-то сидел, откинув голову на высокую спинку, прикрыв глаза. Белая туника. Скулы резкие, надбровье тяжёлое, губы стянуты в нитку. Выбрито гладко, до синевы. Кость да кожа — лицо, которому грим без надобности. Раз положено — наводили.

Перед креслом — серебряная пластина. Тонко отшлифованная, в блик. Что-то в ней стояло — лицо, руки, серые мазки халатиков, — но мутно, поплывше, как сквозь воду. Девочки в неё не глядели. Работали по живому лицу, наизусть.

В стороне, в другом кресле, поодаль, сидел второй. Молодой. Тёмные волосы зачёсаны назад. Лицо гладкое, краси-

вое, без единой складки. Плечи широкие, костюм лёг по фигуре. Нога на ногу, руки на подлокотниках. Молчал. Ни слова девочкам, ни жеста. Смотрел на возню у соседнего кресла. Спокойно. Без любопытства.

— Господин... последний...

— Готово, господин.

Тот, в кресле, открыл глаза. Скользнул взглядом по мутному серебру. Без интереса.

— Идите.

Три халатика склонились. Шорох ткани, стук пузырьков. Дверь закрылась за ними — глухо, плотно.

Тишина.

Тот важный, что сидел перед зеркалом, заговорил первым. Не оборачиваясь. В мутное серебро, своему поплывшему лицу.

— Три таля назад тут сидела Моника. — Пауза. — Теперь ты.

Молодой молчал.

— Как мне тебя теперь звать-то? — Уголок рта дёрнулся. Не усмешка. Что-то кислое. — Тоже Моникой?

Молчание.

— Мог бы и предупредить. — В голосе на миг что-то дрогнуло, не царственное. — Что опять перескакиваешь. Я бы хоть знал, с кем сижу.

Молодой повернул голову. Медленно.

— Это попытка меня контролировать. — Ровно, без теп-

ла. — Брось. Глупости свои оставь.

— Глупости. — Тот обернулся. Лицо властное, костистое, тяжёлое — а губы на миг поджались обиженно, совсем не под стать лицу. — Ты маску обещал. Для Греты. А теперь мне что — опять ждать? Пока ты в силу войдёшь?

Молодой не ответил.

— Значит, снова задержка. — Поморщился. — Пока ты в полную силу войдёшь. Пока разомнёшь это новое тело до себя, до своих мерок. А я сиди жди, как всегда.

Молодой поднялся. Повёл плечами — широкими, чужими ещё недавно. Крутанул шеей. Тело слушалось, но непривычно: другая тяжесть, другой размах, мужская плоть после Моникиной лёгкости. Ничего. Привыкнется. И тело, и одежда садились на нём ровнее с каждым талем — женское отпускаяло, мужское прирастало, становилось своим.

— Ну вот что. — Остановился. — Теперь я Виктор.

Тот важный поднял бровь.

— И нам надо проработать легенду. Мне нужен допуск. К тебе, в покои — открыто, через дверь. Хватит с меня щелей и обходных троп. — Помолчал. — Заведёшь должность. Хранитель Лица. А я буду — Виктор Лик.

Уголок его рта дрогнул. Сам оценил.

Тот важный не оценил.

— Моника была моей любовницей. — Медленно. — Так все думали. Удобно. А ты теперь мужчина. Сидишь, трёшься рядом. Что заговорят? Что я завёл себе... — Запнулся. Губы

поджались. — Любовника.

Виктор усмехнулся. Краем рта, лениво.

— И что? — Плечо пошло вверх и опустилось. — Какая разница, что они там надумают. Для разнообразия. — Шагнул к зеркалу, глянул в мутное серебро поверх его плеча — на оба отражения разом. — Ты Бог Солнца. У такого всякого должно быть вдоволь. Любовниц, любовников. Кому есть дело, чем занят Ра по ночам.

Виктор пошёл к двери. У выхода остановился, будто вспомнил нечто хозяйственное.

— Моника.

Ра поднял глаза.

— Что Моника?

— Кукла свободна.

Пауза.

— Забери себе, если хочешь.

Ра смотрел на него через мутное серебро.

— Зачем?

Виктор чуть повернул голову. Новое лицо оставалось спокойным, почти скупающим.

— Ну как. Я в ней проходил долго. Не один год. Ты успел привыкнуть.

Он помолчал.

— Лицо. Голос. Родинка над верхней губой. Слева. На ней всегда цеплялся твой взгляд.

Пальцы Ра легли на подлокотник плотнее.

— Поставишь у себя. Будешь разговаривать со мной, когда меня нет. Или не только разговаривать. Только не испортить, когда будешь отводить душу.

Виктор улыбнулся краем рта.

— Иногда это удобнее.

Тишина.

В серебряной пластине лицо Ра поплыло, распалось на скулу, рот, тёмную впадину глаза.

— Убирайся, — сказал он.

— Завтра внесёшь меня в списки. Виктор Лик. Хранитель Лика. Постоянный допуск.

Он открыл дверь.

— И не отдавай её кому попало. Всё-таки красивая кукла. Жалко, если достанется человеку без воображения.

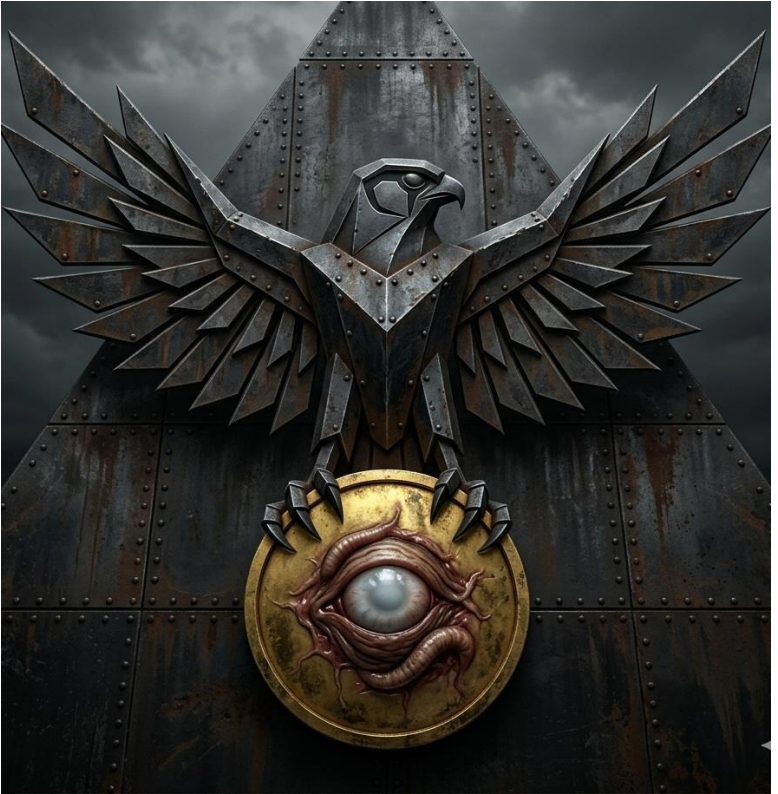
Дверь закрылась.

Глухо.

Ра остался перед мутным серебром. Лицо не двигалось.

Только пальцы на подлокотнике так и не разжались.

1.



... Пузырёк.

Маленький, круглый, идеальный. Выскользнул из уголка рта и пошёл вверх — медленно, лениво, покачиваясь, будто ему было совершенно некуда торопиться. На полпути к крышке он столкнулся с другим, помельче, и оба замерли на долю секунды, словно решая, стоит ли объединяться. Решили — не стоит. Разошлись.

Восемнадцать.

Она считала в голове. Не секунды — движения. Восемнадцатое с начала трюка — это правая рука свободна. Левая ещё нет. Пальцы нащупали штифт — скользкий, знакомый, привычный, как дверная ручка в собственном доме. Поддела ногтём. Щёлк. Замок на левом запястье разомкнулся, и цепь поползла вниз, царапая бедро, звеня о стекло тонко и глухо — почти беззвучно, как звенит всё под водой.

Двадцать два.

Ноги. Правая — штифт у щиколотки, три оборота, готово. Левая — два оборота, палец соскользнул, ещё раз, есть. Цепи легли на дно аквариума, свернувшись мягко, как сытые змеи.

За стеклом — лица. Она видела их боковым зрением, не поворачивая головы: первый ряд, рты приоткрыты, глаза мокрые, блестящие. Мужчина в клетчатом пиджаке наклонился вперёд, упершись ладонями в колени. Он смотрел не на цепи. Он смотрел на неё — на живот, на бёдра, на полоску бикини телесного цвета, которая сливалась с кожей так, что

со второго ряда не разобрать, где ткань, а где тело. Женщина рядом с ним прижала пальцы к губам — эта хотя бы следила за трюком.

Она знала. Всегда знала. Бикини подбирал отец — телесное, в тон кожи, на грани. Зрелище. Мужчины в зале приходили смотреть на трюк, а оставались смотреть на неё, и это было частью номера, частью бизнеса, частью всего. Тело — рабочий инструмент. Как цепи. Как аквариум.

Двадцать пять.

Справа, за стеклом, за кромкой софитов — отец. Она не видела его лица, только силуэт: чёрный пиджак, вскинутая рука, блеск запонки в луче прожектора. Он стоял вполоборота к залу и к ней — одним глазом на публику, другим на аквариум. Ждал. Она помахала в камеру — коротко, легко. Отработанный жест: я свободна, закрывай.

Тёмная ткань упала сверху. Шторка. Мир за стеклом исчез — лица, софиты, клетчатый пиджак, силуэт отца. Осталось: вода, стекло, её тело, и тишина такая плотная, что давила на барабанные перепонки, как чужие ладони.

Теперь — люк. Двадцать восемь, двадцать девять — она нырнула ко дну аквариума. Пальцы нашли рукоятку вслепую, привычно, как находят выключатель в тёмной комнате. Обхватила. Потянула.

Ничего.

...Ещё... Ещё раз. Обеими руками — обхватить, упереться ногами в стекло, тянуть. Пальцы соскользнули, ногти про-

ехали по металлу — тупая, горячая боль под безымянным. Ещё раз. Рукоятка не шла. Не заклинило — выросла, впаялась, будто никогда и не была подвижной.

Счёт в голове остановился. Не сбился — просто перестал быть нужным. Какая разница, сколько прошло, если выхода нет.

Всегда открывался. Каждый раз. Двести шоу, триста — она не считала. Всегда.

Рот открылся сам. Вода вошла — не холодная, не тёплая. Никакая. Лёгкие сжались, тело дёрнулось, и из самого дна, из живота, из того места, откуда поднимается крик — выбросило. Не голосом. Чем-то другим.

Лицо отца за стеклом. Рот открыт. Она не слышит. Свет. Потом — нет.

... Темнота. Последнее — вода в лёгких, стекло, лицо отца. Потом ничего. Потом — холод. Не снаружи, изнутри. Что-то тянуло из-под рёбер — ровно, мерно, без боли. Не тянуло даже — давило и отпускало, давило и отпускало, как будто кто-то невидимый сжимал её изнутри и выцеживал что-то, чему она не знала названия.

В голове всплыла Присцилла — старая цирковая коза, пегая, с проплешинами на боках и выменем до земли. Присцилла была о себе невероятного мнения. Ходила между фургонами, задрав бородатую морду, как герцогиня на прогулке. Когда её доили, она отставляла заднюю ногу — картинно, с достоинством, будто делала одолжение. Помощник конюха

сжимал двумя пальцами — ритмично, равнодушно. Присцилла терпела, глядя поверх его головы.

Вот так. Именно так. Её доили, как Присциллу.

Что-то внутри дёрнулось — не смех, не плач. Что-то между. Меня доят. Как козу. Как старую пафосную козу с выменем до земли. Ну охренеть.

Она бы даже усмехнулась, если бы челюсть не тряслась.

Лежит на боку. Под щекой — мокрое, пористое, тёплое. Мох, жижа. Серое вокруг — не туман, не дым. Рваные клочья, как когда самолёт идёт на посадку сквозь низкую облачность — вязкие лоскуты наплывают, расходятся, снова смыкаются. Видимость — пять-шесть шагов. Если вглядеться долго — марево нехотя расступается, может до десяти. Потом опять стягивается. Не пахнет ничем, кроме сырости и чего-то тухло-растительного. Не пахнет водой. Не пахнет хлоркой. Это первое, что она отмечает.

Она в бикини. Телесном, мокром, облепившем кожу. Босая. Руки пустые. Её трясло — мелко, часто, от затылка до ступней. То ли от холода — хотя снаружи не было холодно. То ли от этого, изнутри, от ритмичного сцеживания, от которого тело вибрировало и не могло остановиться. Она не знала от чего. Проверяет себя — цирковой автопилот: пальцы, запястья, колени, шея. Всё работает. Ожогов нет, боли нет. Лёгкие — целые, сухие. Минуту назад в них была вода. Сейчас — воздух. Не складывается. Отложить. Встать.

Тяжело. Не мышцы — что-то другое. Тело тяжелеет с каж-

дой секундой, и дрожь не унимается. Стоять — можно. Сидеть — хуже. Лежать — нельзя, ляжешь — не встанешь. Она это чувствует шкурой, без слов.

Куда — неизвестно. Маревое одинаковое, лоскуты наплывают и расходятся. Мох чавкает под босыми ногами, жижа холодная, склизкая, забивается между пальцев. Идёт просто чтобы не стоять. Дрожь не проходит.

Под ногой меняется поверхность. Мох кончился — что-то плотное, бурое, упругое, тёплое. Пружинит, как живое. Тепло снизу — через ступни. Первое облегчение: сцеживание ослабевает. Не уходит, но тише. Дрожь мельче. Дорога идёт в две стороны. В одну — чуть вверх. В другую — чуть вниз. Она выбирает вниз. Вода течёт вниз, люди живут внизу, города строят в низинах. Здравый смысл, не мистика.

Идёт по дороге — сколько, не знает. Время здесь не тикает. Потом — звук. Тяжёлый, мерный, из марева. Шаги, скрип, что-то громоздкое. Из рваных лоскутов тумана начинают проступать контуры. Большие. Тёмные. Не один — несколько.

Она останавливается. Тело делает раньше, чем голова — шаг назад, другой, с дороги, в мох, в жижу, присесть, спрятаться. Цирковой инстинкт: если не знаешь, что перед тобой — стань невидимой. Она сползает с дороги и приседает в мох, натягивая колени к груди. Мокрая, полуголая, в тумане.

Из марева выплывают фигуры. Огромные. Широкие, закутанные в длинные плащи из чего-то жёсткого, стоящего

колом, блестящего от масла и грязи. Плащи до земли, краями волочатся по мху. Руки в рукавицах — грубых, негнущихся. А головы —

Маски. На каждом — маска. Не лицо — рыло. Вытянутое, тупое, с жестяной банкой вместо носа, вкрученной в лицевую часть. Глаза — круглые стёкла в металлической оправе, мутные, мёртвые. Дышали сипло, тяжело, воздух свистел через фильтры.

Не люди. Не могут быть людьми. Люди так не выглядят.

Один из них повернул голову. Мутные стёкла уставились в её сторону. На груди — бляха. Тёмная, тускло блестящая, размером с мужскую ладонь. Колесо. Она не знала, что это значит. Но это была вещь. Знак. Что-то организованное, что-то с системой. У зверей нет блях.

Люди. Это люди.

Тот, что увидел её, буркнул что-то остальным. Два плаща отделились от колонны — тяжело, не торопясь, хлюпая сапогами по жиже. Она попыталась встать, отступить — ноги увязли, мох держал. Крага ухватила её за предплечье. Огромная, грубая, негнущаяся. Подняла, поставила на дорогу — как поднимают ребёнка, который упал в лужу.

Она стояла перед ними. Полуголая, трясущаяся, в телесном бикини. Они — огромные, в плащах, в масках, в крагах. Вокруг — серое ничего.

Старший — тот, что шёл впереди, плащ грязнее остальных, бляха крупнее, колесо с зубцами — подошёл. Посмот-

рел сверху вниз. Свист фильтра. Повернулся к остальным.

«Recens. Sola. Femina. Nuda fere.»

Чужие слова. Короткие, лающие. Что-то отдалённо знакомое — обрывки, которые она слышала давно, в церкви, куда отец водил её на Рождество, когда ей было шесть или семь. Священник тянул что-то певучее, торжественное, непонятное. Но здесь — то же самое звучало грубо, буднично, как ругань.

Она не знала этого языка. Не учила. Не слышала никогда целиком.

А потом слова встали в голове. Сами. Не перевод — готовый смысл, как субтитры, которые отстают от картинки на секунду.

Свежак. Одна. Баба. Голая почти.

Она вздрогнула. Так не бывает.

Один из рыл — пониже, покрупнее — хмыкнул через фильтр. Сказал что-то старшему. Старший помолчал. Потом повернулся к кому-то позади и буркнул:

«Da illi pallium. Frigescit.»

Секунда. Субтитры.

Дайте ей плащ. Мёрзнет.

Один из караванщиков отошёл к повозке — крытой, горбатой, тяжело осевшей на одну сторону. Откинул полог, порылся внутри. Вытащил что-то бесформенное, тёмное, скомканное. Кинул ей. Ком упал к ногам, шлёпнув по дороге. Она подняла, развернула — тяжёлая ткань, пропитанная маслом

и чем-то кислым, жёсткая, негнувшаяся. Плащ. Она попыталась натянуть его, запуталась в рукавах, дёрнула, чертыхнулась — плащ был на три размера больше, до земли, руки тонули где-то в глубине. Но тепло. И то, что ссезивало из-под рёбер, — ещё тише.

Старший показал рукой — туда, вниз по дороге. Сказал: «Urbs illac. Ambula. Noli stare.»

Город там. Иди. Не стой.

Тот, что пониже, подал голос:

«Reducimus eam? Praemium dant pro recentibus.»

Вернём её? За свежаков платят.

Старший фыркнул через фильтр — мокрый, булькающий звук.

«In Lonum imus, non redimus. Si revertimur — talem perdemus. Non possumus.»

Мы в Лоно идём, не обратно. Если вернёмся — целый таль потеряем. Нельзя.

Развернулся и пошёл. Караван двинулся дальше, в туман. Плащи, маски, скрип. Фильтры свистели, потом свист стал тише, потом растворился.

Она стоит на тёплой дороге, в чужом плаще поверх бикини, босая. Дрожь мельче, но не ушла. Вокруг — серое ничего. Позади — ничего. Впереди — может быть, город.

...Она идёт.

Плащ волочился, полы собирали жижу, тяжелели. Дорога пружинила под босыми ногами, тёплая, живая. Дрожь стала

фоном — не прекращалась, но перестала удивлять. Как шум мотора в фургоне, когда едешь всю ночь: сначала слышишь, потом перестаёшь.

Мысли лезли.

Она утонула. Это она знала. Вода в лёгких, стекло, темнота. Это было. Значит — умерла. Значит, это — после.

После чего?

Отец никогда не заморачивался. Попы, говорил он, — это те же фокусники, только трюки у них дерьмовые и аудитория тупая. Когда Клавдии было десять, они стояли в очереди за хот-догами в Виннипеге, и мимо прошёл проповедник с табличкой «ПОКАЙТЕСЬ, КОНЕЦ БЛИЗОК». Отец посмотрел на него, потом на неё, и сказал: «Видишь, Клавдия? Человек работает без реквизита. Уважаю. Но сборы у него — дерьмо».

Она засмеялась тогда. Ей было десять, и смерть была словом из телевизора, а попы — странными людьми в чёрном, которые зачем-то не ходят в цирк.

А сейчас она шла по розовой тёплой дороге, босая, в чужом плаще, и тело тряслось, и что-то сцеживалось из-под рёбер, и мужики в масках с фильтрами говорили на языке, которого она не учила, а она понимала каждое слово.

Значит — ад? Не похоже. В аду должно быть жарко. Черти, котлы, огонь. Она видела картинки — в комиксах, в кино, на обложках хэви-метал альбомов, которые крутил водитель их фургона. Ад — это шоу. Декорации, костюмы, драматур-

гия. А тут — мох, жижа, серое марево, и никакой драматургии. Даже музыки нет. Просто тихо, мокро и пусто.

Может, это и не после. Может, она в коме. Лежит в больнице, трубки, мониторы, а всё это — мозг, который умирает и напоследок выдаёт вот эту серую хрень. Она читала об этом — или слышала, или видела в каком-то ток-шоу, которое шло по телевизору в мотеле, пока отец брился в ванной.

Но тогда — тело. Если это кома, если мозг, то почему у неё есть тело? Почему колени болят? Почему пальцы мёрзнут? Почему ноготь содран — тот самый, безымянный на правой, который она сорвала о рукоятку люка, — и до сих пор саднит?

Она посмотрела на руку. Ноготь был на месте. Целый. Но боль — была. Фантомная, настоящая, невозможная.

Она отогнала мысли. Не получилось — они не отгонялись, а просто мельчали, дробились, превращались в мусор: обрывки, слова, картинки. Проповедник в Виннипеге. Попкорн в кинотеатре. Морда Присциллы. Вода.

Хватит. Ноги.

Она считала шаги. Как считала движения в аквариуме — привычка, автопилот, единственное, за что можно держаться. Двести. Триста. Четыреста. Дорога шла вниз — еле заметно, но ноги чувствовали. Вниз легче. Вниз — правильно.

Пятьсот.

Потом из марева проступило свечение. Зеленоватое, тусклое, как гнилушки. И контуры: стена. Высокая, бесконечная,

уходящая вверх и в стороны. Башни. Что-то тёмное, массивное. Ворота.

Она прибавила шаг. Или попыталась — ноги не слушались, и получился не шаг, а спотыкание. Но внутри что-то дёрнулось — не радость, не облегчение. Просто: дошла. Вот оно. Что-то есть.

Потом она увидела его.

Он лежал перед воротами. Огромный, тёмный, вытянутый вдоль дороги. Лапы — массивные, вытянуты вперёд, когти упираются в дорогу. Тело — гладкое, тяжёлое, из чего-то похожего на тёмный камень. Голова — человеческое лицо на зверином теле, широкое, плоское, с закрытыми глазами.

Сфинкс.

Она знала, что это. Видела в кино — «Мумия», восемьдесят девятый, они с отцом ходили в кинотеатр в Монреале после вечернего шоу, ели попкорн, отец смеялся над спецэффектами. Видела на открытках, на обложках книг, на дурацких магнитах в сувенирных лавках.

Статуя. Просто статуя. Декорация перед воротами. Где она? Египет?

Она сделала ещё шаг. Другой.

Сфинкс открыл глаза.

Белые. Бельмастые. Слепые. Без зрачков, без радужки — два выпуклых белых шара, как варёные яйца, вставленные в каменные глазницы. Голова поднялась — медленно, тяжело, с хрустом, как будто шея не двигалась сто лет и забыла

как. Морда повернулась в её сторону. Ноздри — широкие, тёмные — раздулись.

И он загудел.

Низкий, утробный звук. Не рёв, не рык — гул. Вибрация, которая прошла через дорогу, через босые ступни, через кости, через зубы. Как будто внутри этой туши заработал мотор. Один гул — короткий, отрывистый.

Ноги ушли.

Она не упала — осела. Задница на дорогу, ладони назад, локти подломились. Плащ задрался, бикини, голые ноги, мокрый мох по бокам дороги. Она сидела и смотрела на эту тварь, которая смотрела на неё слепыми белыми глазами, и чувствовала, как внутри поднимается что-то горячее, тесное, удушающее. Истерика. Подкатывала снизу, от живота, через горло — сейчас вырвется, сейчас она заорёт, или заплачет, или засмеётся, или всё сразу, и уже не остановится.

Ворота скрипнули. Щель. Из щели — фигуры. Две. В плащах, в масках. Маски — другие. Не рыла караванщиков. Что-то вытянутое, гладкое, узкое, с двумя вертикальными выступами наверху. Похоже на... собаку? Шакала? Что-то среднее, что-то, чему она не могла подобрать слова. На плащах — не бляхи, а вытисненные прямо в ткани знаки, рельефные, чуть светлее остальной ткани. Фильтры на мордах — они вышли наружу, за стену.

Они шли к ней. Не торопясь. Тяжёлые сапоги на тёплой дороге. Она сидела, плащ задран, ладони в жиге, и истерика

поднималась, поднималась —

И тут она услышала голос. Приглушённый маской, но внятный. Английский. Чистый, живой, человеческий английский, с лёгким акцентом.

Второй — другой голос, другой акцент, мягче, певучее. Испанский? Португальский?

— Mira, hermano... mira esas piernas. Si las piernas son así... las tetas serán aún mejor, no?

Глянь, брат... глянь на эти ноги. Если ноги такие... сиськи будут ещё лучше, нет?

Сиськи.

Они обсуждали её сиськи. Два мужика в шакальных масках, у ворот, рядом с ожившей статуей, в мире, которого не может быть — обсуждали её сиськи.

Истерика остановилась. Не ушла — застряла на полпути, между животом и горлом, как кость. Потому что это было понятно. Это было нормально. Мужики смотрят на сиськи — это был весь её цирк, весь её мир, все двести-триста рож в зале, каждый вечер. Бикини подбирал отец — телесное, в тон кожи, на грани. Тело — рабочий инструмент.

Она сидела на тёплой дороге, в задравшемся плаще, и чувствовала, как истерика медленно оседает обратно в живот. Не потому что стало безопасно. Потому что стало знакомо.

... Циновка.

Жёсткая, плетёная, пахнет сухой травой — или тем, что здесь считается травой. Что-то упиралось между лопаток —

мелкое, тупое. Она могла бы подвинуться. Не двигалась.

Потолок низкий. Тёплый, гладкий, без швов — будто вылепленный одним движением ладони. Стены такие же. Ни углов, ни стыков. Как внутренность кувшина. Или желудка.

Рядом плакали. Тихо, почти без звука — только дыхание. вдох, всхлип, вдох, всхлип. Женщина на соседней циновке. Мужчина рядом с ней — голос ровный, негромкий, как будто разговаривал с ребёнком:

— Если её здесь нет — значит, она там. Значит, всё хорошо. Слышишь? Это хорошая новость.

Всхлип.

— Она выжила. Мы — нет. Она — да. Это главное. Не плачь.

Клавдия не поворачивала головы. Цирковая привычка — слушать периферией, ловить чужой зал, не показывая, что ловишь.

Машина. Разбились. Дочка не с ними.

Дальше, через две циновки — двое. Мужчина постарше говорил медленно, с паузами, как будто проверял каждое слово на прочность:

— Закружилось. Всё закружилось, и я подумал — встану сейчас. Не встал. Потолок, лампы, руки чьи-то. Потом ничего.

Второй, помоложе, быстрее:

— А я обедал. Рыба. Кость — вот здесь встала, поперёк. Жена колотила по спине. Кто-то схватил за горло, давил, пы-

тался вытащить. Помню руки. Потом — тоже ничего.

Первый хмыкнул.

— Рыба, значит.

Помолчали.

— Обидно как-то, — сказал второй. Тише.

Из угла долетел женский голос — злой, рваный:

— Говорила же, идиот. Не лезь на крышу. В дождь. Говорила.

Непонятно — про мужа или про себя.

Клавдия лежит. Слушает. Стебель колет между лопаток. Обрывки чужих смертей, мелких, нелепых, обыкновенных. Кость, крыша, руль. Все одинаковые. Все умерли. Все не поняли — как.

У неё хотя бы было стекло. Вода. Лёгкие, которые горели. Тело, которое билось. И крик — изнутри, из живота, из того места, где страх. Что-то определённое.

А эти — кость. Крыша. Руль. И вот лежат рядом на одинаковых циновках, в одинаковом полумраке, в одинаковом непонимании.

Мысли перескочили. Как монтажная склейка — щелчок, и другой кадр.

Стена. Зеленоватое свечение, тусклое, как гнилушки. Двое у ворот, в масках с узкими прорезями. Провели внутрь. Ничего не сказали, ничего не сделали.

И как только она переступила — накрыло. Мгновенно, физически, как если выйти из ледяной воды в тёплую ком-

нату. Всё тело обмякло. Колени поплыли. Она чуть не села прямо на камень — удержалась, вцепившись в край плаща.

И только тогда поняла: всю дорогу от болота она держалась. Из последних. Просто не замечала — привычка. Что бы ни случилось — не ломай номер. Улыбайся. Стой прямо. Не показывая залу, что тебе плохо.

Зала не было. Она всё равно не показывала.

Потом повозка. Её куда-то везли. Тварь впереди тащила — не лошадь, не бык, что-то приземистое, широкое, с кожей как у ящерицы и тяжёлым сопением. Морду она не разглядела. Не хотела разглядывать.

Привезли сюда. Карантин. Распределитель. Циновка.

За два дня она собрала из обрывков — чужих разговоров, чужих объяснений, собственных наблюдений — какую-то картину. Кривую, неполную, с дырами. Но картину.

Мир. Не тот. Тела — не настоящие, вылеплены из субстанции, которую добывают в тех болотах, откуда она пришла. Болота — снаружи, за стеной. Там выживает. Здесь, внутри, — терпимо. Чем ближе к центру — тем лучше. Вещи, которые попадают с тобой из того мира, — на вес золота. Настоящие. Прочные. За них платят.

Она подумала о своём багаже. Трусики телесного цвета. Лифчик, который ей подобрала костюмерша Мариан перед последним номером — чтобы телесный, чтобы в воде казалось, что без ничего. Шоу-бизнес.

Весь её земной капитал. Трусы и лифчик.

Без них, может, была бы даже более востребована.

Усмехнулась. Губы дёрнулись — коротко, сухо. Привычка шутить, когда страшно. Отцовская.

Кормят бесплатно. Барак после карантина — бесплатно. Крыша, циновка, похлёбка. Взамен — Жатва. Так это здесь называется. Все ходят, никто не спрашивает — хочешь ли. Оброк.

Между лопаток по-прежнему давило.

Клавдия закрыла глаза.

2.



... Скула. Левая. Высокая, точёная, с тенью под ней — резкой, как линия, проведённая углём. Свет падал сверху, из узких щелей в потолке, и резал лицо на плоскости: лоб, нос,

подбородок — отдельно, как маска, собранная из кусков.

Мужчина стоял перед троном, не на нём. Высокий, прямой, с развёрнутыми плечами, на которых тяжёлая белая ткань лежала без единой складки. Туника до щиколоток, широкий воротник подпирал челюсть, и шея поворачивалась в нём медленно, с ленивой тяжестью, как поворачивается башня. На груди — золотой диск. Не на цепи — впаян в ткань, вшит, вплавлен. Выпуклый бельмастый глаз в обрамлении мелких, переплетённых червей. Глаз Апопа.

Руки — вдоль тела. Спокойные. Длинные пальцы, ухоженные, с тяжёлым кольцом на указательном — тёмное золото, печатка с пирамидой. Левая рука неподвижна. Правая — почти. Большой палец мерно, едва заметно, постукивал по бедру. Мелко. Ритмично. Привычка, которую не вытравишь ни из какой Куклы.

Три фигуры стояли двумя ступенями ниже. Ждали.

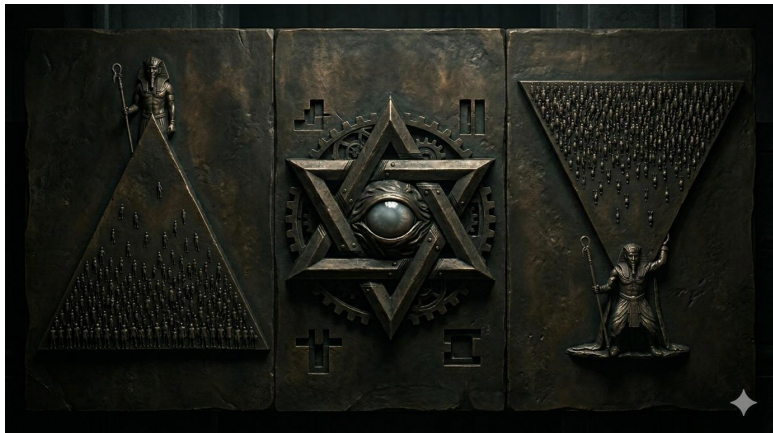
Первый — Хор. Охряная мундирная куртка, высокий воротник, горжет на серебряной цепи. Крыса в пенсне на чёрном щите. Невысокий, сухой, с быстрыми глазами, которые бегали по залу, по стенам, по потолку — везде, кроме лица Ра. Руки сложены за спиной. Пальцы переплетены. Канцелярская привычка — вечно что-то перебирать, пересчитывать, даже когда перебирать нечего.

Вторая — Нуб. Синий лазурит, кожа в обтяжку, горжет со скорпионом, жало-стиллет задрано вверх. Лицо Нефертити. Длинная шея, высокие скулы, идеальная линия подбор-

родка. Губы — полные, тёмные, неподвижные. Спокойные глаза, чуть насмешливые, как у женщины, которая знает всё и не собирается об этом говорить. Красивое лицо. Не её. Он знал это. Она не двигалась вообще — стояла, как собственный горжет, отлитая, отполированная. Только пальцы левой руки — длинные, с острыми ногтями — медленно, лениво поглаживали скулу. Как будто проверяла: на месте ли.

Третий — Тот. Кирпичный мундир, широкий, как на вешалке. Горжет с крокодильей пастью, разинутой, с рядами мелких тупых зубов. Большой. Не высокий — широкий. Квадратная голова на квадратных плечах, короткая шея. Стоял прочно, тяжело, вдавив подошвы в камень. Руки по швам. Глаза — прямо перед собой, в грудь Ра, не выше. Солдат. Ждал приказа.

Палец Ра остановился.



... Глаз.

Бельмастый, выпуклый, белёсый. Смотрел из стены — из центра шестиконечной звезды, вписанной в тяжёлые бронзовые шестерни. Барельеф занимал полстены зала — три панели тёмной рамы, каждая в рост человека.

Она знала его наизусть. Каждую фигурку, каждую линию. Левая панель — пирамида. На вершине фараон с посохом, у подножия — сотни мелких тел, набитых плотно, как зерно в мешке. Вершина власти. Один наверху, остальные внизу. Правая — та же пирамида, перевёрнутая. Вершиной вниз. Фараон — под остриём, а вся людская масса давит сверху, и он держит её на себе. Атлант. Одни и те же фигуры, одна и та же пирамида — только перевёрнутая. Царь и раб в одном

лице.

А посередине — глаз. Фундамент. Без него обе пирамиды — пыль.

Она опустила взгляд. Грудь. Своя. Тонкая кожа лазуритового жакета обтекала её плотно, нежно, как вторая кожа. Ни же — горжет на тяжёлой цепи. Скорпион. Жало-стиллет задрано вверх. Тёмный металл на синей ткани. Красиво. Ядовито.

Она перевела взгляд. Не голову — глаза. Осторожно, привычно.

Он стоял перед ней. Как всегда. Белая туника до щиколоток, широкий воротник подпирал челюсть. Золотой диск на груди — глаз Апопа, обвитый червями. Тот же глаз, что на стене. Только этот — тёплый, впаянный в ткань, поднимался и опускался с каждым вдохом.

Красивое лицо. Породистое. Скула — левая, высокая, точёная. Кость под кожей. Она знала эту кость на ощупь, на вкус, знала, как она упирается в подушку, когда он засыпает, и как дёргается, когда ему снится.

Большой палец правой руки мерно постукивал по бедру. Мелко. Привычно. Скучно.

Слева — Тот. Квадратный, короткая шея, кирпичный мундир. На груди — горжет: тёмная бляха размером с мужскую ладонь, на тяжёлой цепи. Крокодилья пасть, раскрытая, с рядами мелких тупых зубов. Стоял прочно, вдавив подошвы в пол. Руки по швам. Глаза — прямо перед собой, в грудь

Ра, не выше. Ждал.

Справа — Хор. Охряная мундирная куртка, высокий воротник. Горжет на серебряной цепи — полированный щит, а на нём крыса. В пенсне. Сидела на задних лапах, сложив передние, и смотрела бельмастыми стёклышками с видом существа, которое знает о тебе больше, чем ты хотел бы. Невысокий, сухой, с глазами, которые бегали по залу, по стенам, по потолку — везде, кроме лица Ра. Руки за спиной. Пальцы перебирали что-то, чего не было.

Мелко. Привычно. Скучно.

Глаз на стене смотрел. Бельмастый, выпуклый. Шестерни вокруг него не двигались. Шестерни никогда не двигались...

... Шестерни не двигались. Глаз смотрел. Фигурки на левой панели стояли в пирамиде — маленькие, покорные, набитые плотно. На правой — сыпались в воронку. Барельеф тускло светился в полумраке.

Она опустила взгляд.

Родинка.

Маленькая, тёмная, чуть левее пупка. Она знала её наизусть — видела каждое утро, в душе, когда намыливала живот торопливо, не глядя, и всё равно взгляд цеплялся. Не красивая и не уродливая. Просто — её. Единственное, на что можно было смотреть, не поднимая головы.

Она стояла босыми ногами на полу, который должен был быть холодным — и не был.

Одиннадцать. Она посчитала, не поворачивая головы. Ни-

когда не смотри на объект прямо, пока он не смотрит на тебя — привычка, вьевшаяся глубже имени. Одиннадцать человек. Все голые. Все светлые, с чертами, которые она узнавала — свои, северные. Немцы. Их отбирали. Некоторые девушки — красивые, по-настоящему, из тех что останавливают взгляд на улице. Парни — двое, нет, трое — породистые, модельные. Остальные — выше среднего. Все. Ни одного случайного.

Голая. Она — голая. Среди голых. Это пульсировало где-то на дне черепа — мерно, тупо, как зубная боль, которую терпишь, потому что до врача три дня. Кожей чувствовала чужие взгляды — или казалось, что чувствовала. Соски, живот, между ног — всё открыто, всё напоказ, и что-то древнее, бабье, хотело сжаться, скрестить руки, спрятать. Не ждалась. Мозг работал поверх этого — холодный, тренированный, отодвинувший стыд как несрочную папку на край стола. Кубик Рубика в голове не складывался ни одной гранью, и мозг крутил его молча, зло, на автомате — как крутил всегда, когда легенда трещала и надо было собирать обломки в рабочую версию. Кто отбирал. Зачем. По какому принципу. Куда делась остальная сотня с циновок.

... Помада. Тёмно-вишнёвая, в латунном тюбике с погнутым колпачком. Чужая, забыли с прошлого рейса. Стояла на полке, прислонившись к стопке бумажных стаканчиков. Грета подвинула её пальцем. Тюбик качнулся, лёг.

— Слушай, — Хельга считала бокалы, не глядя. — Мар-

кус. Ты на нём сидишь или просто рядом легла подремать.

— Подремать.

— Точно?

— Хель, ты второй год спрашиваешь.

— Я второй год не верю.

Хельга поставила бокал. Повернулась.

— Если... ты, правда? — отдай.

— Бери.

— Так просто?

— Так просто.

— Не передумашь?

— Не передумаю.

Хельга молча взяла следующий бокал. Поставила. Потом вдруг засмеялась — коротко, в нос.

— Слушай. А если бы он сегодня был на рейсе.

— И?

— Прилетели бы. У нас шесть часов до обратки. Знаешь, куда бы мы поехали?

— Знаю.

— Никуда ты не знаешь. На твой Эс-Тренк бы и поехали.

Грета не повернула головы.

— С чего ты взяла, что он мой.

— Грет, ты второй сезон туда сматываешься. Думаешь, никто не замечает?

— Замечают.

— Ну вот.

Замечают. Спасибо, что сказала.

— И что бы мы там делали втроём.

— Лежали. Загорали. Я бы его натирала кремом. — Хельга загибала пальцы. — По плечам. По спине. Ниже пояса — уже по-несестрински.

Грета засмеялась.

— У тебя сценарий готовый.

— Два года писала.

— И что в финале.

— Ты идёшь купаться. Долго.

— Долго это сколько.

— Грет, ну он не мальчик. Тридцать пять, второй пилот.

Минут двадцать пять.

— Я плаваю быстро.

— Тогда сорок. С разговором после.

Грета покачала головой. Поправила крылышки на кармашке — двумя пальцами, не глядя.

— Ладно. Когда передам эстафету — официально, при свидетелях.

— Прямо сейчас.

— Тут?

— Хельга торжественно принимает Маркуса из рук Греты на заходе на посадку. — Хельга подняла бокал. — Свидетели — четыре фужера и помада.

— И помада.

— Чокнемся?

— На земле чокнемся.

— Договорились.

Хельга усмехнулась.

— Дура ты, Грет. Я бы такого мужика не отдала.

— А ты не я.

Помада на полке качнулась — самолёт просел в воздушной яме — и легла обратно. Тюбик с погнутым колпачком. Чужой.

Над шторкой моргнула лампочка.

Хельга подала ей поднос.

— Иди, разноси.

... Шаги.

Мерные, тяжёлые. Шаг человека, которому некуда торопиться, потому что всё и все ждут его. Она скосила глаза — не поворачивая головы.

Двое. Впереди — высокий, прямой, в белом до щиколоток. Широкий воротник подпирает челюсть. На груди — золотой диск с выпуклым бельмастым глазом, обвитым мелкими червями. Руки вдоль тела. Большой палец правой руки мерно постукивал по бедру. Мелко. Привычно.

За ним — квадратный. Короткая шея, кирпичный мундир, горжет с раскрытой крокодильей пастью. Молчал.

Тот в белом шёл вдоль шеренги. Не смотрел — осматривал. Как осматривают товар на прилавке: без интереса, без спешки, с ленивой гримасой пресыщения. Прошёл мимо первой — рыжей, скуластой — не задержался. Мимо парня с

широкой грудью — дёрнул уголком рта. Мимо второй, третьей. Быстрее. Скучнее.

Остановился.

Парень. Высокий, с модельным торсом, с лицом из каталога. Тот в белом замер перед ним. Взгляд прошёлся сверху вниз — шея, грудь, живот, пах. Задержался. Поднял руку. Пальцы — сухие, ухоженные, с тяжёлой печаткой на указательном — взяли парня за подбородок. Приподнял. Повернул влево. Вправо. Медленно, как поворачивают вазу, проверяя, нет ли скола. Линия челюсти. Скулы. Шея. Отпустил.

Кивнул квадратному. Тот шагнул вперёд, встал перед парнем и коротко, двумя пальцами, показал — рот. Парень не понял. Квадратный повторил — ткнул себя в подбородок, разжал челюсть. Парень открыл рот. Тот в белом шагнул ближе. Заглянул. Не торопясь, как заглядывают в механизм, проверяя, всё ли на месте. Зубы. Дёсны. Язык.

Отступил. Взгляд снова вниз — пах, бёдра, колени. Обошёл. Спина, лопатки, ягодицы, задняя сторона бёдер. Вернулся. Кивнул — коротко, удовлетворённо.

Парня увели.

... Шампанское.

Бокал — узкий, высокий. Мелкие пузырьки цеплялись за стенки и не хотели всплывать. Поднос — серебряный, с гравировкой, привычный, на одной руке. Она шла по проходу. Левая грудь — крылышки, маленькая эмалевая эмблема на кармашке жакета. Правая — бейджик. Greta. Белые буквы

на синем пластике.

Салон. Четверо. Кресла — бежевая кожа, развёрнуты друг к другу. Пожилой с газетой. Младший бубнил в диктофон, не глядя на неё. Она поставила бокал на подлокотник, улыбнулась — без лица, как улыбается форма, — и пошла обратно.

За иллюминатором — горы. Синие, в дымке, с белыми прожилками на вершинах. Пиренеи. Снижаемся.

Потом мир треснул.

Не звук — удар. Слева, снизу. Как будто кто-то огромный пнул самолёт ногой. Её не уронило — бросило. Плечо в переборку, боль — белая, тупая. Поднос вылетел, бокал — куда-то, тонкий звон и тишина. И сразу — запах. Сначала горячий металл, жжёный, как паяльник. Потом — керосин. Резкий, тугой, бьющий в ноздри и в горло.

Дыра в борту — слева, рваная, с загнутыми внутрь краями. Через неё — струя. Не воздух. Керосин хлестал внутрь, по стене, по ковру, по креслу с газетой, по рукаву пожилого, который уже не читал, а хватал ртом воздух. Газета лежала у него на коленях, мокрая, тёмная. Младший уронил диктофон — маленький чёрный прямоугольник покатился под кресло, и это было последнее нормальное, что она видела, — предмет, который подчиняется гравитации.

Горы в иллюминаторе начали вращаться.

Медленно. Потом быстрее. Небо и земля менялись местами — раз, другой, третий. Она вцепилась в кресло. Руки сами — нашли, обхватили, вжались. Мозг выключил всё лиш-

нее. Ни страха, ни мыслей. Только ладони на коже подлокотника и Пиренеи, которые крутились в иллюминаторе, и в какой-то момент белые вершины оказались сверху, и она поняла, что это не вершины сверху — это они внизу, они падают, и рот открылся, а крика не было, потому что лёгкие были пустые —...

...Тёплый пол.

Моргнула. Стена. Барельеф — шестерни, фигурки, глаз. Пальцы на ногах — свои. Родинка — на месте. Голая. Шеренга. Люди рядом дышат...

...Серое.

Все серое. Мокрое. Мох под щекой. Это тоже было — между самолётом и этим полом. Тело помнило: что-то ссезивалось из-под рёбер, ритмично, равнодушно. Она лежала и чувствовала, как из неё вытекает что-то, чему не знала названия. Становилось хуже. Не больно — пусто. Как будто теряла кровь, только крови не было.

Фигуры. Длинные, в масках — рыла с жестяными набалдашниками, мутные стёкла вместо глаз. Сопели через фильтры. Стояли над ней, переговаривались. Чужие слова — короткие, лающие. Она не знала этого языка. Не учила. Но в голове, с задержкой в секунду, вставал готовый смысл — как субтитры, которые отстают от картинки. Одна из фигур наклонилась, краги — огромные, негнущиеся — подняли, поставили. Она стояла среди болота в форме стюардессы — юбка, жакет, крылышки на кармашке, бейджик Greta — и ноги

не держали.

Потом — стена. Ворота. Что-то тёмное, лежащее у входа. Внутри — накрыло. Тело обмякло, колени поплыли. Только тогда поняла: всю дорогу от болота она держалась. Не замечала. Циновка. Тела вокруг. Плач, бормотание, чужие смерти — мелкие, нелепые, обыкновенные.

Потом пришли. Подняли. Раздели. Построили. Повезли. ... Тот в белом двинулся дальше. Мимо ещё одной — не глядя. Мимо невысокого парня с покатыми плечами — даже не замедлился.

И остановился.

Она почувствовала раньше, чем увидела. Не запах, не звук. Присутствие. Как будто воздух рядом стал плотнее. Она стояла, глядя перед собой — в стену, в барельеф, в шестерни и фигурки, — и чувствовала его взгляд. Физически. Как ладонь, которая ещё не легла, но уже нависла.

Пауза. Длинная. Непохожая на те, что были до неё — те были деловые, короткие, с кивком и приговором. Эта — другая. Эта была тишина человека, который узнал что-то. Или вспомнил.

Рука.

Те же пальцы. Та же печатка — тёмное золото, пирамида. Только что они брали парня за подбородок — деловито, цепко, как берут инструмент. Теперь — её ладонь. Не запястье, не плечо. Ладонь. Как берут ребёнка, которого нужно вывести из толпы. Или как берут то, что боятся сломать.

Потянул. Шаг вперёд. Из строя. Она шагнула.

Квадратный за его спиной шевельнулся — привычно, на автомате. Тот в белом, не оборачиваясь, отвёл руку назад — ладонью. Стой. Сам.

Обошёл её. Медленно. Она стояла, чувствовала его за спиной — шаг, другой. Остановился. Ладонь легла на ягодицу. Не грубо. Медленно. Как трогают поверхность, проверяя — настоящая ли. Скользнула по бедру. На живот. Печатка царапнула кожу у пупка — холодная, тяжёлая. Рядом с родинкой. Пальцы поднялись выше, рука снизу подхватила грудь — легко, взвесила, задержалась. Отпустила. Поднялись к ключице, к шее, к подбородку.

Он вышел перед ней.

Она увидела его лицо. Скула — левая, высокая, точёная. Глаза — серые, с прищуром. Красивое лицо. Породистое. И что-то за ним — глубже, под кожей — двигалось.

Пальцы поднялись к её волосам. Нашли прядь — белую, льняную, тяжёлую. Намотали на указательный. Медленно. Один оборот. Другой. Печатка утонула в волосах. Он держал её прядь на своём пальце и смотрел — не на неё. Сквозь. Куда-то внутрь, где было что-то старое, затвердевшее, болезненное.

Она знала этот взгляд. Не этот конкретный — этот тип. Видела сотни раз: за столиками бизнес-класса, в салонах, в VIP-залах, где мужчины в дорогих костюмах на секунду переставали контролировать лицо. Момент, когда внутри прорывается — жадное, детское, голое. Ловишь, запоминаешь,

кладёшь в папку. Учили.

Голос. Севший. С хрипцой, как будто горло перехватило.

— Wie heißt du?

Она ответила. Ровно. Просто. Как отвечала на всё, что не требовало легенды.

— Greta.

Палец на пряди сжался. Зрачки расширились. Рот приоткрылся — и закрылся. Кадык дёрнулся. Тишина. Длинная, как падение. Как те Пиренеи в иллюминаторе — когда всё уже перевернулось, а земля ещё не ударила.

Попала. Просто назвала имя — и попала. Куда — не знала. Но что-то сдвинулось, что-то запустилось, тихо и необратимо.

Палец Ра всё ещё держал её волосы.



3.

... Болт.

Тяжёлый, конический, расширяющийся книзу. Сидел в горловине плотно, как пробка в бутылке. Она надавила снизу двумя пальцами — средним и указательным, как нажимала кнопку на механизме замка в аквариуме, — и болт поднялся, пропуская тонкую, неровную струю. Вода была никакой. Не тёплой, не холодной. Не прозрачной — сероватой, мутной, как разбавленное молоко. Как и всё здесь.

Она подставила ладони. Вода стекала по пальцам, по запястьям, капала с локтей на каменный пол. Не пахла ничем. Не хлоркой, не железом, не водой. Ничем. Вода, которую, как она поняла из объяснений, лепили здесь так же, как лепили стены и одежду — из переработанной энергии этого мира. Рукотворная. Ненастоящая. И не давала отражения. Она заметила это в первый день, когда наклонилась над корытцем — на дне остатки серой лужицы, а в ней ничего. Ни лица, ни тени лица. Плоская, мёртвая поверхность.

В углу, за кадками, возились. Она покосилась — не поворачивая головы, краем глаза. Сотник и двое его прихлебателей обступили кого-то, прижали к стене. Тихо, без крика. Деловито.

Лицо. Плеснула. Ещё раз. Тёрла щёки, лоб, за ушами —

привычка, вьёвшаяся с детства: после каждого номера — к раковине, смыть грим, смыть пот, смыть зал. Зала не было. Грима не было. Пота — почти не было, тело здесь потело иначе, скупое, будто экономило влагу. Но руки делали то, что привыкли. Автопилот.

Она отпустила болт. Он сел обратно с глухим чавком. Струя обрезалась.

Из открытой двери — звуки. Шарканье, кашель, чей-то бубнёж. Кто-то скрипел нарами. Кто-то ворочался. За шторкой справа кряхтели — надрывно, сосредоточенно, как человек, который делает что-то важное и не хочет, чтобы мешали.

Клавдия только что оттуда. Ночная ваза. Горшок. Блядский деревянный горшок, гладкий изнутри, как полированный. Шесть штук в ряд, за шторками. Садись, делаешь дело, встаёшь. Всё. Осталось только цветочки нарисовать — как на том, с которого она в четыре года навернулась в фургоне посреди ночи, и отец орал из-за перегородки: «Клавдия, если ты разлила — ты сама это вытираешь!»

Здесь вытирать не надо. Она просидела в первый раз лишнюю минуту, глядя вниз. То, что она только что произвела, — исчезало. Просто исчезало. Не стекало, не впитывалось. Было — и не стало. Как фокус. Говняный — во всех смыслах. Когда встала — кадка была чистой. Гладкой. Запах ещё держался пару минут, потом и он рассосался. Куда — она не знала. Как и всё остальное здесь.

Она стояла над рукомойником — каменным корытцем на двух грубых ножках — и смотрела, как последние капли стекают по стенкам. Вода не задерживалась. Впитывалась. Корытце было сухим через пару минут, как будто и не было ничего.

Шторку отдёрнула. Свет шёл отовсюду — от стен, от пола, от нар, даже от шторок и кадок за спиной. Зеленоватый, тусклый, ровный. Ни ламп, ни окон. Но особенно сильно светились абортыши или выкидыши — так местные называли новичков вроде неё. Свежие, необжитые, набитые энергией, которую этот мир ещё не успел высосать.

За кадками стихло. Она скосила глаза — возня кончилась, тройка стояла у стены, расслабленно, довольно. Тот, кого прижимали, уже уходил, сутулясь. Один из тройки — здоровый, широкий, тяжёлый, с одной полоской на погоне плече — поймал её взгляд. Провёл языком по губам. Медленно, напоказ. Подмигнул.

Она отвернулась. Лицо — ничего. Пошла к выходу.

Казарма — она сама придумала это слово, других не было — тянулась вперёд: два ряда нар по стенам, один ряд посередине. Между рядами — проход, узкий. Навстречу шла женщина — босая, в таком же голубом рубище. Грубая ткань, мешковатая, до колен. На спине — нашивка: серый щит, чёрный скорпион, жало с пирамидальной заточкой на конце. У всех одинаковые. Сто человек, сто скорпионов. Клавдия прижалась боком к нарам, пропуская. Женщина прошла, не

взглянув. Глаза пустые, припухшие. Неделя — и уже никто ни на кого не смотрит.

Её место — у стены, ближе к дальнему концу. Ступила босыми ногами на циновку — плетёную, жёсткую, с загнутыми краями. Привычка — не стоять на голом камне — осталась с земли, хотя здесь камень не вытягивал тепло. Здесь вообще ничего не вытягивало тепло. Всё было одинаковым — тёплым, ровным, никаким. Во всяком случае, ей так казалось.

Над головой — полка, доска на двух костылях. Табуретка — кривоватая, квадратная. За неделю она обзавелась имуществом: два комплекта рубища, циновка, тюфяк, полка, табуретка. Королева. Тем, кто в среднем ряду, повезло чуть больше — вместо полки тумбочка, грубая, похожая на обрубок колонны. Всё имущество — туда.

Барабан.

Глухой, далёкий. Пришёл через стопы раньше, чем через уши. Вибрация прошла по полу, по циновке, вверх по голеникам. Пять ударов. Пауза.

Она посчитала в голове. Пять иров после малого жука. Так здесь считали время — ирами и жуками. Ир — час. Малый жук — середина дня, большой — конец. Пять после малого — значит одиннадцатый. Скоро отбой. Если переводить на человеческое — одиннадцать вечера. Она ещё переводила. Через месяц, наверное, перестанет.

Цирковой ребёнок: ритм запоминается раньше слов.

На нарах напротив сидел мужчина. Средних лет, узкопле-

чий, сутулый. Очки — настоящие, земные, с тонкой проволочной оправой и толстыми стёклами. Вещь первого порядка — как какой-то умник объяснял им в первые дни: всё, что приходит с абортывшем из той жизни, ценится здесь на вес золота. Не гниёт, не рассыпается, не тускнеет. За такие вещи на аукционах дерутся. Он их снимал только когда ложился, и клал под тюфяк, под голову. Она заметила это в первую ночь.

Он сидел и вертел в руках что-то маленькое, металлическое. Красный пластик на боку, крестик. Мультитул. Швейцарский, армейский, с выкидным лезвием, пилкой, штопором. Вертел его в пальцах — не разглядывал, не использовал. Просто держал. Как она когда-то держала расчёску матери в фургоне, когда ехали ночью, и дорога гудела под полом, и было страшно.

Она отвела глаза. Легла. Тюфяк хрустнул. Колющее ткнулось между лопаток — в то же место. Потолок — низкий, гладкий, без швов. Зеленоватый свет, ровный, мёртвый.

Скорпион на спине рубища ворочался. Не по-настоящему — ей казалось. Но казалось настойчиво.

Метка. Как номер на фургоне.

Ты принадлежишь.

... Голоса.

Она слышала раньше, чем увидела. Не крик — бубнёж. Густой, вязкий, как каша в глотке. Кто-то сопел. Кто-то цыкнул зубом — коротко, по-хозяйски.

Опять.

Та же троица. Она даже глаз не открыла — знала по звуку. Сотник и его двое.

Сотник. Девяносто девять выкидышей — она усмехнулась, не разжимая губ, — и один пастух. Приставлен сверху, единственный не абортёр, уже местный, обжитой. Следит за порядком, назначает дежурных, отвечает перед кем-то наверху. Двоих набрал себе из их же стада — носить, подавать, держать. А между делом, как оказалось трясти.

Земные вещи. Вот за чем они пришли. Кто притащил с собой зажигалку, перочинный нож, ремень с пряжкой — тот может быть мишень.

Она усмехнулась. Губы дёрнулись — сами, коротко. Весь её земной капитал — трусики и лифчик. Зато шоу-бизнес, цирковые. Может, найдётся ценитель. Какой-нибудь обожатель дамского исподнего — глянет, оценит, озолотит.

Красный блик. Тусклый. Пластик. Сутулый сжимал мультитул так, что костяшки побелели.

— Не отдам.

Бубнёж перерос в рык. Сотник вздёрнул его с циновки за воротник. Сорок с лишним лет, а болтается в кулаке, как тряпка. Задыхается.

Клавдия смотрела в потолок. Слабые платят. Это закон. Нет. Враньё. Это страх. Я просто притворяюсь ветошью, чтобы меня не выпотрошили следующей.

Стебель циновки больно колот между лопаток. Узел в животе затянулся. Тугой. Склизкий. Сутулый стоял на своём.

Из-за куска красного пластика. Это ломало выученную схему.

Камень. Босые пятки. Два шага. Рука легла на плечо сотника. Грубая ткань. Запах застарелого пота.

— Он не согласен. Не отдаёт. Хорош.

Сотник медленно, словно не веря, разворачивал свою широкую спину. Глаза-щели мазнули по ней. Замах. Быстрый. Наотмашь. Дистанция. Цирковой рефлекс сработал до мысли. Шаг в сторону. Корпус чуть назад. Тяжёлый кулак вспорол пустоту в сантиметре от подбородка, обдав лицо кислым воздухом. Никаких лишних усилий. Сотник поперхнулся собственным промахом.

Но второй уже шагнул. Широкий. Здоровый. Без замаха — шагнул из-за спины сотника и вбил кулак сутулому в солнечное сплетение. Глухо. Как в мешок с влажным песком. Сутулый рухнул. Тонкая проволока очков брызнула осколками стекла по камню. Широкий перенёс вес на левую ногу. Правая пошла вверх.

Ботинок. Земной. Настоящий. Сорок пятый размер. Тяжеленный, изъеденный кислотой говнодав, подкованный металлом. Такие здесь не выдают на распределении. Такие снимают с ещё тёплых ног. Завис в высшей точке. Сейчас он с влажным хрустом впечатает лицо сутулого в пол.

Три шага. Далеко. Не успеть. Паника ударила в горло. Тот самый плотный, слепой комок. Аквариум. Закипающие лёгкие. Вода, в которой не докричаться. Она не шагнула. Не

дёрнулась. Просто вытолкнула это из себя.

Пространство сгустилось. Таран — тугой, невидимый — ударил широкого в грудь. Широкий крикнул. Стоя на одной ноге, в своём пудовом земном ботинке, он вдруг нелепо, поклоунски взмахнул руками. Глаза выкатились. Равновесие лопнуло. Огромная туша завалилась назад.

Тяжёлый, влажный хряск затылка о камень. Тишина. Только красный пластик мультитула тускло блестел на полу рядом с сутулым.

... Пузырь.

Красный. Надувался медленно, дрожал, истончался на макушке — и лопался. За ним сразу второй, поменьше.

Корд смотрел вверх, не моргая. Лежал на спине, руки сложены на животе, ноги вытянуты — поза покойника. Так удобнее думать. Так меньше шуршит циновка. Свод над головой светился ровным, зеленоватым, мёртвым светом. Не мерцал. Просто светился, как и всё в этом мире — стены, пол, потолок, тумбочки, всё одинаково. Как будто камень. Не настоящий камень, понятно, но похож. Так его и звали в голове — камень. Других слов пока не было. Пузырей наверху не было тоже. Они лопались под веками. Большой. Маленький. Лопнул. Точно такие шли изо рта у турка, когда тот валялся на камнях. Кровавые. Тягучие.

Позвоночник ныл. То ли от доски под циновкой, то ли от того знания, которое всегда жило где-то там, между позвонками, глубоко под мыслями.

Простое правило. Кто первый сдал — тот банкует. Кто второй — того кладут на стол и разбирают на части. Корабль тонет — крысы прыгают в шлюпки первыми. Не потому что у них больше мозгов. Потому что они не ждут команды.

Один раз он уже так делал.

Тогда было четверо. Тёмная комната, без окон. Корд очнулся первым — двое в крови на полу, третий с открытыми глазами в потолок, дышит, но уплыл. Снаружи шаги. Тяжёлые. И в эту секунду в Корде щёлкнуло — не мысль, а команда, мгновенная, телесная. Сейчас войдут. Сейчас спросят. Первый, кто откроет рот, будет правым.

Он встал. Отряхнулся. Подошёл к двери раньше, чем тот человек её открыл. Заговорил первым, не дожидаясь вопроса — спокойно, по-деловому, с лёгкой дрожью в голосе для убедительности. Дрожь была расчётом, не чувством. Сдал всех троих, чисто, в нужных формулировках. Двух из комнаты вынесли вперёд ногами. Третий, тот с открытыми глазами, очухался и провёл следующие много лет в местах, куда Корд уже не попал.

Корду тогда не дали ничего. Свидетель. Помог следствию.

Лиц он не помнил. Имён — тоже. Память стёрла за ненадобностью. Остался только рефлекс. Сухой, надёжный. Не быть последним.

Дальний угол барака.

Там лежал турок. Манда. Гора мяса с турецкой рожей и в земных подкованных говнодавах. Отсюда, со своей лежанки,

Корд хрипа не слышал — слишком далеко, слишком много тел между ними, метров двадцать. Но помнил тряпку на его голове. Тёмную, тяжёлую. Турок был жив. Пока ещё. А может, уже и откинулся. Здоровая туша, а оказался хлипкий — затылок треснул как яйцо.

Тупой бык. Корд смотрел в зеленоватую муть и чувствовал не жалость, не злорадство — глухое, профессиональное раздражение. Манда никогда не умел соизмерять. Всегда сразу — кулаком, ногой, в полную силу. Очкарика можно было взять иначе. Прижать одной рукой, повернуть, надавить на болевую — отдал бы свой говнодав без писка, ещё и спасибо сказал бы, что не сильно. Корд бы сделал по уму. Корд знает как. Десять лет такого делал, прежде чем сесть.

Но Корд — не сотник. Корд — на подхвате. Держать, подавать, прикрывать. А порядок наводит сотник.

И вот за это Корд злился сейчас на сотника даже больше, чем на тупого Манду. Манда тупой, что с него взять. Бык всегда останется быком. А сотник — сотник должен был держать его в узде. Сотник был старший. Сотник вместо этого спускал ему всё — раз, второй, третий. На прошлой неделе Манда чуть не задушил какого-то старика за горбушку, сотник его еле оттащил, посмеялся. Спускал. Думал, всё норм. И в этот раз тоже спустил. Стоял рядом, смотрел, как Манда замахивается коваленным сапогом сорок пятого размера в лицо лежащему очкарику. Не остановил.

И вот результат. Лежит, хрипит. И всех потянет за собой.

Третий угол.

Там лежал сотник. Корд его не видел в зеленоватой мути, но чуял. Урка урку чует через стенку, через сто человек, через любую муть. Не звук, не запах — что-то другое. Когда такой же, как ты, лежит и не спит — это слышно костями. Сотник тоже не спал. Сотник тоже считал.

И вот в этом — главная дрянь.

Корд думал не о том, что сотник испугался. Он думал о том, что сотник — местный.

У бригадира корни пущены в эту прокисшую раму. Он тут не первый день, не первый месяц. Знает систему, знает, в какие двери стучать, с кем говорить, кому что сунуть. А они с Мандой — абортыши. Две недели как выковыряли из тумана. Голые. Никто. Без связей, без знакомств, без понимания где тут что и как.

Если местный пойдёт первым — он сам распишет колоду. Разложит, как ему выгодно. Скажет: турок с катушек слетел из-за земной вещи, полез в драку, я пытался разнять, остановить беспредел — а этот, и сотник ткнёт пальцем в Корда, — его держал. По собственному почину. Я не заметил. Я был занят турком.

И поверят. Местному, со связями. А не двум кускам мяса из ниоткуда.

Корд провёл языком по дёснам. Сухо. Слюна тут шла туго, вязко — тело будто экономило, само не зная зачем.

Он же в драке-то и правда не участвовал. Не бил. Только

держал очкарика. По приказу. Сотник сказал — Корд держал. Чистая правда. Но если первым докладывает бригадир — правды уже не будет. Будет версия сотника. И в этой версии Корд бьёт. Корд душит. Корд проламывает турку голову и бросает подышать.

Икры мелко, противно дёрнулись. Корд переложил ногу на ногу — медленно, чтобы не скрипнула циновка, чтобы никто из соседей не заметил. Хотя соседи спали или притворялись. В этом бараке все притворялись.

Корд закрыл глаза на секунду. Открыл. Потолок там же. Решение там же.

Сотник сейчас тоже, наверное, не спит. Лежит в своём углу и тоже крутит счёты. Может, уже поднимается. Может, прямо сейчас встаёт и собирается идти. Корд не видел. Корд не был намерен проверять.

Сдавать. Как только начнётся этот их дурацкий местный день.

День, который никогда не начинается по-настоящему, потому что солнца тут нет.

Корд лежал неподвижно. Барак изображал глубокий мёртвый сон. Сто тел дышали в одном ритме — медленно, экономно, как дышат тут все.

Где-то далеко лежал турок. Где-то в третьем углу — сотник.

Корд смотрел в зеленоватый потолок.

Пузырь. Надулся. Лопнул. Большой. Маленький.

Корд дожждётся утра.

Только бы сотник не опередил.

... Клавдия лежала на спине, руки сложены на животе. По-за покойника. Цирковая привычка — после трюка лечь и не дёргаться. Считала чужое дыхание. Слева — медленное, с присвистом. Справа — частое, обрывистое. Кто-то всхрипнул дальше. Кто-то бормотнул во сне.

Завтра разборки. Это она поняла сразу, как только села обратно на нары. Трое мужиков с лычками и при власти. Один лежит с проломленной башкой. Она — глупая курица из ниоткуда, две недели как из тумана, не знает ни правил, ни системы, ни кому жаловаться, ни от кого защищаться. Её сделают крайней — это даже не вопрос. Вопрос только насколько.

Цирковой автопилот считал варианты. Без шоу, без публики, без отца за софитами. Считать было нечего. Все варианты вели в одно и то же место — куда-то, где будет хуже, чем здесь.

Она усмехнулась — губы дёрнулись коротко, сухо. Привычка шутить, когда страшно. Отцовская.

А вообще — что это было?

Здоровый стоял на одной ноге, в своём пудовом ботинке. Замахнулся. Потом взмахнул руками, как клоун. Потом — назад. Хряск.

Между «замахнулся» и «назад» — у неё в памяти провал. Может, ничего и не было. Может, здоровый сам потерял рав-

новесие в своих неудобных говнодавах сорок пятого размера. Кто стоит на одной ноге в подкованных сапогах — тот и падает. Простая физика.

И тут всплыло. Без спросу.

Аквариум. Рукоятка, которая не идёт. Лёгкие. Крик, который вышел не голосом — чем-то другим, из живота, из самого дна. И — лицо отца за стеклом. Её рот открыт, но её не слышно. Но он услышал. Не ушами. Чем-то другим.

Тогда она не успела об этом подумать. Был свет, потом темнота, потом туман. Не до того было.

А сейчас — лежит и думает. Отец услышал. Здоровый упал. Между этими двумя вещами — что-то общее. Что-то, что выходит из неё, когда совсем припрёт.

Нет. Показалось. Отец стоял рядом с аквариумом, он мог увидеть как она дёргается, увидеть пузыри, рот. Услышать стук по стеклу — она помнит, она колотила. Здоровый — оступился. Бикини сухое, ботинки тяжёлые, камень неровный. Мало ли.

Показалось.

Она закрыла глаза. Стебель колол между лопаток. Будь что будет.

Завтра.

4.

... Он сидел на столе. Не за — на. Одна нога свисала, покачивалась, мягкий сапог чертил в воздухе ленивую дугу. Вторая поджата, пятка на краю. Руки на колене. Смотрел на неё, как отец смотрел на новую ассистентку перед пробой — прикидывал, сколько репетиций понадобится, чтобы не уронила реквизит.

Невысокий. Плотный, но не грузный — из тех коренастых мужиков, которые никогда не бывают толстыми и никогда не бывают худыми. Лицо тёмное, подвижное, нос крупный, подбородок вперёд. Не красавец. Но и не из тех, от кого отворачиваешься. Что-то в посадке головы, в том как он чуть наклонял её набок — привычка слушать или привычка притворяться, что слушает. Волосы чёрные, коротко, седина на висках. Под сорок. Та же синева, что на ней — лазурит. Только у неё роба кололась на сгибах и топорщилась колом, а его рубаха до колен сидела как своя. Одна ткань, одна краска. Две разные истории. На плече — скорпион, серебряный, жало с пирамидальной заточкой. Такой же, как на спине её рубахи, только выпуклый. У сотника в бараке были три лычки, у патрульных — кулаки и башни. А этот носил насекомое. Красивое. Поблёскивало.

— Когда попала?

Зажурчало. Быстрое, мягкое, округлое — слога катились одно в другое, как камешки по мелководью. Она не сразу поняла — итальянский. Ухо поймало знакомый ритм, а в голове уже стоял готовый смысл, чуть запоздавший, как субтитры, которые догоняют картинку. Ей говорили, что потом привыкнешь, перестанешь замечать — все будут звучать одинаково, как будто весь мир говорит на твоём языке. Она пока не привыкла.

Помолчала. Не потому что не знала — считала. Пальцы, жуки, барабаны. Местная арифметика, которая никак не ложилась в голову.

— По-земному — где-то неделю. По-здешнему я ещё плохо считаю.

Кивнул. Ни усмешки, ни снисхождения — принял и убрал.

— Год смерти?

Она запнулась. Не на вопросе — на слове. Смерти. Ей ещё никто так не говорил. В бараке все обходились — «когда попал», «когда случилось», «когда тебя». Никто не произносил это слово вслух. А он — буднично, как номер страховки.

— Конец девяностого.

Что-то мелькнуло в глазах. Пересчитал, убрал.

Соскользнул со стола одним движением. Невысокий, но собранный, ничего лишнего. Показал на табурет посреди комнаты.

— Садись.

Она села. Табурет низкий, колени торчат. Он взял второй, поставил напротив, сел. Близко — колени почти упирались в её. Не для давления. Для дистанции.

— Локти на колени. Руки вперёд, ладонями вниз. Вот так. Показал — сам сложил руки, вытянул. Она повторила. Неудобно, но терпимо.

— Держать долго, минут пять. Поэтому локти на колени, иначе руки устанут и начнёшь дёргаться. Мне — помехи. Тебе — заново.

Деловой. Сухой. Инструктаж перед процедурой, не разговор. Как техник, который объясняет, куда не совать пальцы.

Его ладони легли под её — снизу, плотно. Тёплые, сухие, шершавые. Она вздрогнула — не от прикосновения, от того, как прикосновение было. Точное. Без лишнего давления, без заминки. Как будто он брал чужие руки тысячу раз и знал, где именно должен лечь каждый палец.

— Сейчас закрой глаза и начни вспоминать. Не с драки. Раньше. С чего-нибудь до — пять минут, десять, неважно. Мне нужен разгон, без него картинка не встанет. Вспоминай спокойно, не торопись. Если начнёшь гнать — будет рябь.

Она закрыла глаза.

... Пальцы длинные, тонкие, прохладные. Ухоженные. Не рабочие руки — ни мозолей, ни заусенцев. Циркачка, а руки как у пианистки. Кожа гладкая. Мадонна. Такие пальцы в Неаполе целовали бы, не спрашивая имени.

Пикантная. Интересно, чего покажет.

Темнота. Рябь.

Потом — зеленоватый полумрак, стены без швов. Кадка. Деревянная. Гладкая.

О нет.

... сидит на горшке, колени сжаты, смотрит вниз. Между ног — то, что между ног. Отжурчала. Сидит и пялится, как это исчезает. Серьёзно, сосредоточенно, как будто фокус разгадывает. Щупает дно пальцами. Нюхает...

Цирк. Дю солей. Клоунесса бя. Пикантности показывает.

Ярко. Забыл уже, как с новоприбывшими — краски свежие, чёткие. Через полгода потускнеет. А пока — каждая морщинка на теле, каждый заусенец на пальце.

Рябь. Обрыв.

... Рукомойник. Каменное корытце. Плещет в лицо, трёт щёки, лоб, за ушами. Руки быстрые, привычные — ритуал, не мытьё... Земные рефлексy, тело помнит то, чего здесь нет. Знакомо. Все через это проходят.

За спиной, у кадок, — возня. Трое. Кого-то прижали к стене. Она видит краем глаза, не поворачивается. Фиксирует. Не вмешивается.

Умная. Или трусливая. Или и то и другое — тут разницы нет.

Дёрг. Обрыв. Перескок.

... Барак. Проход между нар. Мужчина напротив — сутулый, узкоплечий. Очки земные, проволочная оправа. В руках — красное, маленькое, металлическое. Крутит в паль-

цах. Не разглядывает — держит. Она смотрит на его руки. Секунду. Две. Отводит глаза. Ложится...

Темнота.

... Барак. Потолок. Стебель между лопаток. Сто тел во круг. Потом — звук. Бубнёж. Сопение. Цыканье.

Троица. Сутулый на циновке, красный блик мультитула в руках. Здоровый — широкий, тяжёлый — бьёт в солнечное. Сутулый складывается. Очки — осколки по камню. Нога вверх. Ботинок — земной, подкованный.

Она стоит в трёх шагах. Руки пустые.

Ботинок в высшей точке. Здоровый на одной ноге. И — ...

Рябь. Густая, плотная. Картинку рвёт. Что-то горячее, тесное — не образ, не мысль. Волна. Сырая, неоформленная, от которой заныли запястья и свело пальцы. Сальво попытался удержать — как зачерпнуть воду и сжать кулак.

Потом — здоровый на полу. Затылок. Хряск.

Между «ботинокверху» и «затылок на полу» — провал. Шум. Ожог. И ничего.

Сальво разжал пальцы. Тихо, аккуратно — как отпускают горячее. Открыл глаза.

Девчонка сидела напротив, руки вытянуты, ладони вниз. Смотрела на него. Пыталась выглядеть спокойно. Ждала.

Ничего себе — цирк.

Встал. Обошёл её — медленно, по дуге. Она не поворачивала головы, только спина чуть напряглась под робой. Скорпион на лопатке дёрнулся. Или показалось.

— Ещё раз. Только давай с того момента, как легла на место. Горшков мне больше не надо.

Пальцы на подлокотниках табурета сжались. Коротко, мелко. Побелели костяшки. Не повернулась, но он видел — по шее, по тому как дёрнулся кадык — проглотила.

Убрал ей волосы со лба. Деловито, двумя руками — как убирают штору, чтобы не мешала. Положил ладони на виски, пальцы на лоб. Тёплая кожа, мелкая дрожь под подушечками.

— Не дёргайся. Воспоминания всегда цепляются за моменты, где ты была включена. Где заостряла внимание. Ты там разглядывала — вот оно и всплыло первым. Не ты выбираешь, память выбирает. Я и не такого насмотрелся.

Дрожь под пальцами стала тише. Не ушла — притихла.

— Вспоминай. С лежанки. Спокойно.

Пикантная. И нервная. Ладно, поехали.

...Барак. Потолок. Зеленоватый свет. Стебель между лопаток. Сто тел дышат вокруг...

Стабильнее. Ровнее. Та же дорожка, но протоптанная — мозг уже прошёл здесь минуту назад и теперь шёл увереннее, без перескоков. Краски те же — яркие, свежаковские. Но без рывков. Плавнее.

...Звук. Бубнёж. Сопение. Цыканье. Троица. Сутулый на циновке. Красный блик...

Сальво напрягся. Пальцы на висках чуть сжались — сам не заметил. Вот оно. Подъезжаем.

...Здоровый бьёт. Сутулый складывается. Очки — оскол-
ки. Нога вверх. Ботинок. Она стоит. Три шага. Руки пустые...
Ну давай. Давай, покажи.

...Ботинок в высшей точке. Здоровый на одной ноге. И
—...

То же самое. Ожог. Волна. Густая, плотная рябь, от ко-
торой свело челюсть и заломило за глазами. Он попытался
продавить — ухватить хоть край, хоть тень. Ничего. Каша.
Горячий шум, а за ним —

...Здоровый на полу. Затылок. Хряск. Тишина...

Сальво снял ладони с её висков. Медленно. Постоял за её
спиной. Потёр переносицу — ныла, как после мигрени.

Та же дыра. Чистая, воспроизводимая, в том же месте. Не
сбой. Не помеха. Не враньё — врут иначе, враньё он видит,
враньё мутное, а тут не мутное. Тут слепое. Как засвеченный
кадр на плёнке.

Три шага. Руки пустые. Никто не толкал. Никто не бил. И
здоровый — упал.

Он обошёл табурет и сел напротив неё. Девчонка смотре-
ла на него. Спокойно. Ждала. Точно так же, как пять минут
назад. Цирковое — держать лицо перед залом.

Он обошёл табурет и сел на стол. Нога свесилась, покачи-
вается. Молчит.

Жар в щеках. Тупой, ровный, как от ожога. Он видел. Всё
видел. Кадку, журчание, пальцы на дне. Её любопытство. Её
голый зад на гладком дереве. И ей хотелось провалиться —

прямо сейчас, сквозь этот табурет, сквозь пол, сквозь всю эту дрянь, которая называется миром.

Отогнать. Не сейчас. Лицо. Держи лицо. Спина прямая, подбородок ровно, руки на коленях. Не дёргайся. Зал смотрит.

Зала не было. Один итальянец на столе, покачивающий сапогом. Но автопилот работал — тело выпрямилось, дыхание выровнялось. Привычка. Что бы ни случилось — не ломай номер.

Она пыталась прочесть его лицо. Подвижное, тёмное, закрытое. Нос, подбородок, складка у рта — ничего. Ни злости, ни сочувствия, ни брезгливости. Думает. О чём — не разобрать.

Хмыкнул. Коротко, через нос.

— Ну что. Твоей прямой вины я пока не увидел.

Пока. Она поймала это слово, как ловят фальшивую монету на зуб.

— Мне ещё надо пообщаться с остальными участниками. Ты первая на очереди была.

Помолчал. Сапог качнулся — туда, обратно.

— Но вот что я тебе скажу. Если бы ты осталась в стороне — этот конфликт закончился бы без таких последствий. Мультикул бы забрали, ну потрясли бы мужика — и разошлись. А сейчас один из смотрящих лежит с проломленной головой. Мелкая сошка, но при исполнении. Облечённый властью.

Она открыла рот — что-то дёрнулось внутри, слово, возражение, — но он поднял ладонь. Коротко, без нажима. Как дирижёр, который останавливает оркестр.

— Косвенная вина — на тебе есть. Это факт. Дальше всё зависит от того, как преподнести. Можно из тебя сделать чуть ли не героиню — девочка вступилась за слабого. А можно — подстрекателя, из-за которого город чуть не потерял ценный ресурс. Здоровые руки здесь на дороге не валяются.

Сапог остановился.

— Твою мотивацию до конца мне выяснить пока не удалось. Поэтому — расследование не закончено. Мне надо подумать. Встретимся ещё раз.

Встал. Одним движением, как в первый раз. Подошёл к двери. Обернулся.

— Пока — свободна. Иди в барак.

Дверь. Коридор. Шаги.

Она сидела на табурете. Руки на коленях. Тишина.

Крючок. Она его чувствовала — между рёбер, холодный, тонкий. Не больно. Просто — есть. «Встретимся ещё раз». Не угроза, не обещание. Факт, от которого некуда деться.

И одновременно — облегчение. Мутное, стыдное, как после номера, который чуть не сорвался. Не припёрли. Не сейчас. Сейчас она не смогла бы — ни упираться, ни идти на поводу. Упрёшься — разозлишь. А на поводу — куда? Чего он хочет? Интим? Может, это было бы самое лёгкое. В цирке она знала правила. Кто платит, тот заказывает. Понятно,

привычно, противно, но понятно. А здесь — ни правил, ни цен, ни даже намёка на то, что вообще продаётся. Мир без прейскуранта. Хуже не придумаешь.

Она встала. Ноги держали. Руки не тряслись. Нормально. Пошла к двери.

... Кахва Мехмета стояла на углу третьего кольца, там, где Кромь начинала подниматься и воздух делался суше. Пять столиков, низкие табуреты, навес, который провисал посередине — видимо, изначально был вылеплен криво, и теперь доживал свою кривую жизнь, пока не рассыплется. Мехмет стоял за стойкой — сухой, длинный, с усами, которые свисали ниже подбородка. Перед ним — жаровня. Песок в ней был горячим, и это было главное. Мехмет закрыл глаза, постоял — секунду, две, — и в песке начала проступать турка. Медная, пузатая, с длинной ручкой. За ней — вторая. Кофе поднимался медленно, неохотно. Но пах — настоящим. Густым, горьким, пережжённым. Мехмет помнил этот запах так, как другие помнят первую сигарету.

Сальво сидел у дальнего столика, спиной к стене. Привычка. Нильс — напротив, на табурете, который под ним казался детским. Рослый и широкий, как пень. Скуластый, светлоглазый, лицо — плоское, обветренное, из тех лиц, которые не стареют, а сохнут. Золотой скорпион на плече тускло светился в зеленоватом полумраке. Молчал. Нильс всегда молчал первым — ждал, пока заговорят при нём.

Бабка у него была нойда. Настоящая, саамская, из тех,

что разговаривают с оленями и знают, когда человек умрёт, за неделю до того, как он сам узнает. Нильс рассказывал об этом один раз, коротко, без подробностей — как рассказывают про родимое пятно или группу крови. Факт, не история. Дар перешёл по крови, через поколение. Бабка — внук. Минуя отца, который был лесорубом и ничего не чуял, кроме смолы и водки.

И дар у Нильса был — настоящий. Не сальвовский, натруженный, выжатый из земного опыта и помноженный на местную физику. А природный. Чистый. Как абсолютный слух у ребёнка, который никогда не учился музыке. Сальво не завидовал. Врал, что не завидовал. Потом перестал врать и просто принял — как принимают кривой палец или плохое зрение. Есть вещи, которые не лечатся.

Мехмет принёс кофе. Две чашки, маленькие, толстостенные. Поставил молча. Турки — рядом, на глиняном блюде. Пар. Запах. На секунду — как будто ничего вокруг нет, ни Кромии, ни полумрака, ни эрозии. Просто кофе.

Сальво отхлебнул. Горячий, горький, с гущей на языке. Хорошо.

Говорили о текучке. Барак четыреста двенадцатый — дебош, двое покалеченных, оба виноваты, оба в карцере. Патент трактирщика на седьмом кольце — похоже, поддельный, надо проверять. Жалоба на смотрящего в восьмисотых бараках — вроде трясёт свежаков, но свидетелей нет. Обычное дерьмо. Полторы сотни тысяч голов на десять нюхачей

— по пятнадцать тысяч на рыло. Не продохнуть.

Нильс слушал, кивал, ронял короткие слова. Привычный ритм — как два мастеровых, которые перебирают инструменты в конце смены. Ничего срочного. Ничего нового.

Мехмет протирал чашки за стойкой. Кофе остывал.

Момент подворачивался удачный. Сальво покрутил чашку в пальцах. Нужно вставлять. Сейчас. Главное — аккуратно. Этот лопарь тот ещё жук: заинтересуется — отожмёт, и глазом не моргнёт. А у Сальво нюх чесался — тема интересная, с неё может что-то выгореть. Кроме того, что и бамбина сама по себе хороша.

— Да, кстати. В одной из сотен инцидент был. В принципе разобрался, ничего особенного. Смотрящий и двое его выкормышей из абортышей — трясли свежаков, отбирали земные вещи. Во время драки один из помощников упал, ударился головой. Будем списывать, наверное — овощ, второй день не приходит в себя. Сотник и второй в карцере, завтра рапорт.

Нильс кивнул. Кофе, чашка, пальцы на краю.

— Там свидетелем проходит одна свежачка. Ни при чём — стояла в стороне, шагах в трёх. Картинка сходится у всех. Достать его никак ничем не могла. Единственное — когда я её смотрел, на том моменте, где он падает, у меня в картинке какая-то каша пошла. Рябь, ожог. Прогнал дважды — то же самое.

Нильс молчал. Долго. Палец на краю чашки остановился.

— Какая сотня?

— Семьсот тридцать седьмая.

— Что за девка?

— Канадка. Циркачка. Работала в цирке с отцом, номер с аквариумом. Утонула. Конец девяностого. Неделю как здесь.

Нильс пожевал губами. Тихо, как будто пробовал слово на вкус, прежде чем произнести.

— Так а ты что чувствовал? Ещё раз. Подробнее.

— Ожог. Волна — горячая, сырая, неоформленная. Запаясь свело, челюсть заломило. Пытался ухватить — как воду в кулаке сжать. Ничего. Засвет, и он уже на полу.

Нильс помолчал. Отпил кофе. Поставил чашку — тихо, точно, как ставят фигуру на доске.

— Может быть ничего. А может быть — интересный экземпляр.

Пауза. Короткая, но Сальво почувствовал её кожей. Лопарь зацепился. Именно то, чего не хотелось.

— Ну, в общем, понаблюдаю пока. Слушай, а что там по патенту на седьмом кольце — ты хотел, чтобы кто-то из наших съездил?

Нильс посмотрел на него. Светлые глаза, неподвижные. Секунду. Две. Потом — кивнул.

— Да. Пошли Марко, пусть глянет.

Отпустил. Или сделал вид, что отпустил. С этим лопарём никогда не поймёшь — убрал в ящик или положил на видное место.

Мехмет забрал чашки. Молча, привычно.

Сальво вышел на улицу. Зеленоватый полумрак, тёплый воздух, гул Кроми. Народ тёк мимо — лазуритовые робы, бляхи, лица.

5.

... Ручка.

Латунная, массивная, с тёмной патиной в углублениях — таких не делают уже лет пятьдесят. Она видела похожие в старых домах на Пренцлауэр-Берг, когда ещё была Стена и квартиры стояли нетронутые с довоенных времён. Ручка комода. Круглая, с мелкой насечкой по ободу. Пальцы легли на латунь сами — и не почувствовали ничего. Ни холода, ни тепла. Как будто у металла отняли температуру.

Комод. Тёмный, тяжёлый. Кровать — высокая, с прямым изголовьем. Бельё крахмальное, натянутое. Стул, столик, кувшин с водой. Стены — гладкие, цвета слоновой кости. Ни картины, ни зеркала, ни окна. Немецкая гостиница из бабушкиного времени — добротная, дорогая, мёртвая. Каждая вещь на месте. Ни одна не жила.

Она стояла посреди этой комнаты голая, босая, и ловила себя на том, что пальцы всё ещё гладят ручку комода — единственное, за что зацепилось тело в этой аккуратной, безупречной коробке без воздуха. Не без кислорода — дышалось нормально. Без другого. Без сквозняка, без звука за стеной, без занавески, которая шевелится. Без всего того, что делает комнату частью мира, а не куском, вырезанным из него.

Тот, в белом, даже не дошёл до конца шеренги. Отпустил её прядь, постоял — секунду, две, — и развернулся. Не посмотрел на девушку справа. Не посмотрел на следующую. Ушёл, и квадратный двинулся за ним — на два шага позади, ни на полшага ближе. Никто в зале не шевельнулся, пока оба не вышли. Не шелохнулся. Как будто выдохнуть можно было только после того, как закроется дверь.

Некоторых увели. Куда — она не видела. Её оставили стоять. Одну, голую, посреди пустеющего зала с барельефами и бельмастым глазом на стене, который смотрел и не моргал. Потом появился человек — невысокий, в длинной светлой тунике до щиколоток, из тонкой ткани, которая не была ни хлопком, ни шёлком, ни чем-то, чему она знала название. Жестом показал — идти. Она пошла.

Коридоры. Гладкие стены, тот же ровный свет без источника. Поворот, ещё поворот, дверь, снова коридор. Она считала повороты — привычка, въевшаяся глубже имени. Четыре направо, один налево, лестница вниз — восемь ступеней, — прямо, ещё дверь. Босые ступни на полу, который не был ни холодным, ни тёплым. Человек в тунике шёл впереди и ни разу не обернулся, как будто заранее знал, что она не побежит. Некуда.

Привели. Показали комнату. Дверь закрылась.

Кто он.

Мысль пришла не сразу — сначала тело осваивалось с тишиной, с неподвижным светом, с латунной ручкой под паль-

цами. И только потом, когда пальцы перестали искать, а ноги привыкли к полу, — внутри шевельнулось.

Кто он. Тот, в белом, с золотым диском на груди, с печатькой на указательном, с привычкой квадратного держаться на два шага позади. Тот, при ком не шевелятся. Тот, кто осматривал её — не как мужчина, а как хозяин, проверяющий, всё ли на месте в новой покупке. Рука на ягодице, пальцы на груди, прядь на указательном — медленно, по-хозяйски, как трогают то, что уже принадлежит.

Может быть, он и есть главный. Может быть — сам император. Здесь есть император. Это она уже знала — услышала в первые дни, между обрывками чужих разговоров на цинковках, между бормотанием и плачем, между чужими смертями — мелкими, нелепыми, обыкновенными.

Что-то внутри сжалось. Не в животе — глубже, под рёбрами, там, где когда-то было что-то, похожее на уверенность в завтрашнем дне. Если это император — то что? Что это значит для неё? Масштаб скручивался в голове, как воронка, и на дне этой воронки было что-то, от чего хотелось зажмуриться. Она оборвала. Гадать — не сейчас. Гадать — это терять опору, а опоры и так нет, и каждая мысль в эту сторону утаскивает в какое-то оцепенение, вязкое, ватное, из которого потом придётся выдирать себя за волосы.

Сейчас. Здесь. Что есть.

Она отпустила ручку комода и села на кровать. Пружины не скрипнули — или скрипнули, но так тихо, что тиши-

на комнаты проглотила и не заметила. Бельё под бёдрами — гладкое, крахмальное, прохладное. Голая. До сих пор голая. Ни трусов, ни майки, ни тряпки. Чужая кровать, чужая комната, чужой мир — и даже прикрыться нечем. Вся её одежда, всё, что осталось от той жизни, — осталось там. В том месте, где были циновки, и тела, и бормотание, и те, которых здесь звали — она вспомнила и дёрнула уголком рта — абортывшими. Выкидышами.

Достойное название.

Стук. Короткий. Костяшками — два удара, сухих, деловых. Она дёрнулась, выпрямилась, руки — машинально — легли на колени, прикрыли. Ответа никто не ждал. Дверь открылась.

Мужчина. Невысокий, сухой. Сорок — сорок пять. Определение щёлкнуло само — носогубная складка, шея, руки, — холодной привычкой, вбитой в серых кабинетах на Норманнентрассе. Залысины, быстрые глаза, ухоженные пальцы. Взгляд скользнул по ней — вниз, вверх — без интереса, без похоти. Как по предмету, который нужно оценить. Она узнала этот взгляд. Профессиональный. Сама так смотрела. Одет не бедно, не богато — тёмный камзол до колен, ткань хорошая, но без украшений. Не слуга, не военный. Мастер. Специалист.

Дверь он за собой прикрыл, не закрыл. Остановился в двух шагах от неё.

— Guten Tag.

Голос ровный, деловой. Чистый хохдойч, ни акцента, ни улыбки.

— Меня зовут Дитрих. Дворцовый скульптор-модельер.

Она услышала оба слова и не поняла ни одного. Скульптор. Модельер. Вместе. В этом месте, где стены светились сами по себе — ровно, мертво, без источника, — а на століке рядом с кувшином горели два светильника, которые не были ни свечами, ни лампами, а были чем-то, чему она не знала названия, — в этом месте любое слово могло означать что угодно.

— Встаньте, пожалуйста. Подойдите сюда, мне нужно пространство.

Она встала. Отошла от кровати на середину комнаты. Голая, босая, под этим светом без теней, который шёл отовсюду и от которого её собственное тело казалось чужим — слишком видимым, слишком открытым, как на операционном столе.

Он обошёл её. Медленно, по кругу, как обходят манекен в витрине. Остановился за спиной — она почувствовала, не увидела. Пальцы легли на лопатку. Сухие, прохладные — нет, опять никакие, без температуры. Провели вниз по позвоночнику — считая, как считают бусины на чётках. Остановились на пояснице.

— Повернитесь.

Повернулась. Он стоял близко — на расстоянии вытянутой руки. Смотрел на её плечи. Не в глаза, не на грудь —

на линию плеч, на то, как ключица уходит к шее. Два пальца подхватили грудь снизу, приподняли, отпустили. Рабочий жест — быстрый, равнодушный, как у торговца, проверяющего спелость фрукта. Ладонь прошла по бедру, по животу. Задержалась. Ощупала талию — с обеих сторон, симметрично, большими пальцами.

— Руки вверх.

Подняла. Он смотрел на рёбра, на то, как кожа натягивается, как обозначаются мышцы. Кивнул. Чему — непонятно.

— Присядьте.

Села. Нет — присела, на корточки. Колени вместе, машинально. Он смотрел на бёдра, на колени, на лодыжки. Наклонился, тронул икру — сжал, отпустил. Встал.

— Хорошо. Можете выпрямиться.

Она выпрямилась и стояла, пока он ходил вокруг ещё раз. Медосмотр в учебке — четвёртый курс, перед переброской. Врач-майор с усталыми глазами и холодным стетоскопом. Повернитесь. Руки вверх. Присядьте. Кашляните. Тот хотя бы представился военврачом, и это имело смысл. Здесь человек назвался скульптором и трогал её как заготовку.

Он остановился перед ней. Сложил руки за спиной.

— Что вы обычно носите?

Пауза. Короткая.

— В чём вам было бы удобно находиться здесь.

Здесь. Она услышала и отложила. Не «вообще». Здесь. Значит, он спрашивает про это — про комнату, про то, в чём

ходить между этими стенами. Домашнее. Для неё. А за дверью — другое. За дверью будут одевать не по её вкусу.

— Джинсы, — сказала. — Простые. Прямые. Футболку. Свитер.

Он кивнул. Медленно, с прикрытыми глазами, как будто записывал.

— Какие джинсы? Цвет. Швы. Пуговица или молния.

— Синие. Плотные. Молния.

Кивок. Глаза по-прежнему закрыты. Пальцы за спиной чуть шевельнулись — перебирая что-то, чего не было.

— Ещё?

— Бельё. Обычное бельё.

Он открыл глаза и посмотрел на неё. Без выражения, но внимательно — как смотрит человек, которому описали блюдо, которого он никогда не пробовал.

— Хорошо. Опишите.

Она описала. Трусы, лифчик, форму — коротко, сухо, как заполняют бланк. Он слушал, кивал, глаза снова закрыты. Потом открыл.

— Хорошо. Попробуем.

Развернулся и вышел. Дверь за ним закрылась мягко, без щелчка. Попробуем. Не «сделаю», не «будет готово». Попробуем. Как будто она попросила что-то сложное.

Дверь закрылась. Тишина. Та же, что и до него, — плотная, цельная, без трещин.

Она постояла. Потом подошла к кровати и легла. Не под

одеяло — поверх, на покрывало, на спину. Голая на чужом белье, руки вдоль тела, глаза в потолок. Потолок был гладкий, матовый, того же цвета, что стены. Без трещин, без пятен, без единой точки, за которую мог бы зацепиться взгляд.

Одежда. Он спросил, что она носит, и она ответила — джинсы, футболка, — и только сейчас подумала: а ведь у неё есть одежда. Там. В том месте, где циновки и абортыши. Форма. Юбка, жакет, блузка, крылышки на кармашке. Бейджик. Greta. Белые буквы на синем пластике. Всё, что осталось от того мира.

Того мира. Не моего. Не родного. Того.

Она заметила это — как заметила бы чужую оговорку на допросе — и не удивилась. Тот мир. Правильное слово. Там тоже было не её. Форма — легенда. Квартира во Франкфурте — легенда. Имя на бейджике — настоящее, единственное настоящее, что у неё было, — и то наполовину фальшивое, потому что Грета, которая носила этот бейджик, была западной немкой из Гамбурга, дочерью инженера и домохозяйки, а настоящая Грета родилась в Восточном Берлине и была завербована в двадцать лет людьми, которые потом исчезли. Стена упала, связь оборвалась. Кураторы растворились, как будто их не было. А легенда осталась. И Грета осталась в ней, потому что выходить было некуда — та, настоящая, из Восточного Берлина, к тому времени уже почти стёрлась, как монета, которую слишком долго носили в кармане.

Не больно. Она ждала, что будет больно — лежать здесь,

в этом, и думать о том, — и не дождалась. Пусто. Чисто. Как комната, из которой вынесли мебель: стены на месте, пол на месте, а жить не в чем. Может быть, потому что она никогда и не жила — в том смысле, в котором живут люди, которые знают, кто они.

Потолок смотрел. Гладкий, ровный, без единого пятна. Ей бы заплакать — наверное. Нормальная женщина заплакала бы. Она лежала и разглядывала потолок, и думала о том, что нормальная женщина заплакала бы, и от этой мысли ей стало не грустно, а смешно, — тихо, криво, одним уголком рта, — и она закрыла глаза.

... Стук.

Другой. Не тот, что раньше — не костяшки, не сухие деловые два удара. Мягче. Тише. Один раз. Пауза.

Она открыла глаза. Потолок. Гладкий, ровный.

Ещё раз. Тот же стук — осторожный, вкрадчивый. И снова тишина. Ждут.

Она села на кровати. Натянула покрывало на колени — машинально, бессмысленно, как жест, который ничего не прикрывает, но руки делают сами.

— Herein.

Дверь открылась. Двое. Женщины — молодые, в тех же длинных светлых туниках, что и провожатый. Одна несла стопку, прижав к груди обеими руками. Вторая — пару чего-то мягкого, похожего на тапки. Вошли, глаза опущены. Первая подошла к кровати, положила стопку рядом с ней —

аккуратно, ровно, как кладут подношение. Вторая поставила тапки у лежанки. Обе выпрямились, коротко склонили головы — не поклон, не кивок, а что-то между: лёгкое, привычное, отработанное. Ни слова. Развернулись. Вышли. Дверь закрылась.

Она посмотрела на стопку.

Сверху — джинсы. Взяла в руки, и пальцы сразу сказали: нет. Покрой похож — прямые, с карманами, с молнией. Но ткань мягкая, рыхлая, без жёсткости денима. Цвет — синий, но не тот синий, не линялый, не живой. Синий, каким его помнит тот, кому пересказали. Швы ровные, аккуратные, но не машинные. Как будто кто-то описал джинсы человеку, который их никогда не держал в руках, и тот слепил по описанию.

Футболка. Проще. Серая. Почти нормальная, если не думать.

Свитер. Шерсть грубая, колкая, деревенская. Шерсть, какой её помнит человек, который трогал овцу, а не полку в универмаге.

А под свитером — другое.

Тонкая ткань, скользкая, прохладная. Что-то длинное, с кружевной каймой по вырезу. Комбинация. Она развернула, подняла перед собой. Видела такие. В кино. Чёрно-белом. Про войну.

Дальше — трусы. Нет. Панталоны. Широкие, до колена, хлопковые, с двумя перламутровыми пуговками на поясе.

Бабушкины. Нет — прабабушкины.

Лифчик — мягкий, без косточек, с широкими лямками. Не поддерживает — приглаживает. Лифчик женщины, которая не знает, что бюстгальтеры бывают другими.

И на самом дне — пояс.

Матерчатый. Четыре резинки, по две с каждой стороны. На конце каждой — зажим с зубчиками. И рядом — чулки. Тонкие, телесные, с утолщением на пятке.

Она стояла, держала пояс двумя руками, и в затылке медленно проворачивалось что-то, что ещё не встало на место, но уже начало цеплять.

Джинсы — кривые. По описанию. Он их никогда не видел.

А вот это — каждая пуговица, каждая резинка, каждый шов. Это он знает. Это заказывали. Не ей — до неё.

Кто-то хочет её видеть в этом. Кто-то, для кого чулки на подвязках — не старомодная дрянь из документального кино, а нормальная, привычная вещь. Живая.

Её будут одевать.

Нет. Наряжать.

Зажим покачивался на резинке. Мелко. Тихо.

... Одежду принесли позже. Не эту — ту. Форму.

Та же девушка в тунике. Вошла, положила на стул и вышла. Аккуратно сложенное: юбка, жакет, блузка. Крылышки на кармашке — маленькая эмалевая эмблема авиакомпаний, левая грудь. Она развернула жакет, и запах ударил раньше,

чем глаза успели увидеть — керосин. Слабый, выветрившийся, въевшийся в ткань так глубоко, что никакая стирка не возьмёт. Запах последних секунд. Пиренеи в иллюминаторе, белые вершины, которые начали вращаться.

Она отложила жакет. Взяла блузку. Белая, хлопковая, с перламутровыми пуговицами. Целая. На правой стороне — бейджик. Синий пластик, белые буквы. Greta. Она отцепила его, положила на ладонь. Лёгкий, гладкий, тёплый — нет, опять никакой, без температуры, как всё здесь. Провела большим пальцем по буквам. G. R. E. T. A. Пластик под подушечкой — чуть шершавый, с микроцарапинами от булавки, которой она перецепляла его каждое утро с блузки на блузку.

Единственная настоящая вещь. Не слепленная, не выдуманная, не вспомненная кем-то чужим. Её. Оттуда.

Мальорка. Они летели на Мальорку. Четверо в салоне — пожилой с газетой, младший с диктофоном, ещё двое, которых она не запомнила. Стандартный рейс, стандартный заход — снижение над побережьем, разворот, полоса. Три часа туда, три обратно. Между рейсами — шесть часов. Она знала, что будет делать в эти шесть часов. Знала с утра, с того момента, как увидела в расписании Пальму и солнце в прогнозе.

Эс-Тренк. Длинный, белый, пустой. Дикий пляж на южном берегу — сосны до самого песка, запах хвои и соли, вода такая прозрачная, что видно дно на трёх метрах. Она была

там дважды. Оба раза одна. Оба раза — без лифчика, потому что можно, потому что Европа, потому что на Эс-Тренке всем плевать. Ложилась на спину, закрывала глаза, и солнце давило на веки — красное, горячее, живое. Песок под лопатками — мелкий, горячий сверху, прохладный если копнуть пальцами. Волна доходила до щиколоток, отползала, доходила снова. Она лежала и ни о чём не думала, и это было единственное время, когда она не была ни агентом, ни стюардессой, ни легендой, ни Гретой-из-Гамбурга — а просто телом на песке, и тело было тёплое, и живое, и никому ничего не должное.

Она сжала бейджик в кулаке. Пластик упёрся ребром в ладонь — маленькая, тупая, знакомая боль.

Закрыла глаза. За веками было темно. Не красно — темно. Ни солнца, ни песка. Ровный, мёртвый свет комнаты просачивался сквозь веки серым, и она лежала на чужой кровати, в чужом белье из чужой эпохи, и сжимала в кулаке кусок синего пластика с пятью белыми буквами, и волна не приходила.

Потолок. Она знала, не открывая глаз. Гладкий. Ровный. Без единого пятна.

6.

... Сосиска.

Толстая, тугая, с лопнувшей кожей, из которой сочилось что-то мутно-розовое. Пар поднимался лениво, пах горчицей и чем-то мясным, жирным, знакомым настолько, что скулы свело. Братвурст.

Она сидела на кровати, тарелка на коленях, вилка в руке — тяжёлая, мельхиоровая, с потемневшим узором на ручке, из тех, что лежат в бабушкином буфете и достаются по праздникам. Ковыряла. Не ела — ковыряла. Зубцы втыкались в кожу, кожа пружинила, сок вытекал на тарелку...

...Сок вытекал на тарелку. На другую — тонкую, бумажную, прогнувшуюся в её руке. А на её колене лежала рука Маркуса, второго пилота. Мюнхен пенился пивом, ревел Октоберфестом — у заказчика поменялись планы, экипаж застрелял на ночь. Маркусу тогда ничего не обломилось. Ни в ту ночь, ни позже. Да и не нравился он ей. А ещё — у кураторов за Стеной на неё были совсем другие планы.

Тот же запах. Та же горчица. Сосиска остывала на тарелке...

Рядом — кружка. Кофе. Значит, утро. Или вечер. Кофе приносили дважды — первый и третий раз. В середине — яблочный сок, кисловатый, мутный, в стакане с толстым

дном. Три раза — день. Она начала считать со второго дня — или с третьего, первый был смазан, она спала почти не просыпаясь и не помнила, сколько раз стучали в дверь, пока она лежала, завернувшись в одеяло, лицом к стене. По её подсчётам — третий день. Может быть, четвёртый.

Сначала она спала. Много, жадно, как спят, когда не хотят просыпаться. Каждый раз перед тем, как провалиться, думала: может быть, когда открою глаза — потолок, нормальный потолок, с трещиной, с пятном от протечки, с мухой. Не этот. Не открывалось. Потолок. Гладкий. Ровный. Потом сон кончился — просто кончился, как вода в стакане, — и полезли мысли, от большинства которых она отмахивалась, потому что думать про того, в белом, с печаткой, — кто он, зачем, что будет, — было нельзя. За этими мыслями начиналось оцепенение, вязкое, ватное, и выдирать себя из него стоило с каждым разом дороже.

Одежду перемерила всю. Джинсы — чужие, рыхлые, но лучше чем голая. Футболку — серую, почти нормальную. Свитер — колючий, грубый. Своё бельё — настоящее, земное, привезённое из того центра вместе с формой — аккуратно сложила и убрала в комод. Форму тоже. Крылышки, юбку, жакет с въевшимся запахом керосина. Решила: привыкать к тому, что есть. Носила трусы от скульптора — хлопок, не её размер, резинка шире, ткань плотнее, всё время хотелось поправить, — и серую футболку.

От нечего делать надела чулки.

Возилась с зажимами — тугие, непослушные, пальцы не понимали, как цеплять за край. Разобралась. Застегнула. Встала. Провела ладонями по бёдрам сверху вниз — чулок обтягивал ногу гладко, плотно, с лёгким шелестом под пальцами. Резинки натянулись, потянули вверх. Захотелось посмотреть.

Зеркала не было. Нигде. Ни одного.

Примерять одежду без зеркала — как трахаться без оргазма: вроде все движения на месте, а кончить нечем.

Усмехнулась. Закрыла глаза. Попыталась увидеть себя. Чулки, подвязки, резинки — чёрно-белое кино, берлинское кабаре, дым и перья, женщины на сцене задирают ноги, а в зале сидят офицеры в мундирах и хлопают по бёдрам от восторга. Или Париж — Монмартр, канкан, юбки вверх.

Она посмотрела вниз — на свои ноги. Чулок менял кожу — делал её глаже, ровнее, добавлял тот матовый отлив, от которого в кино мужчины роняли сигареты. Нога в чулке выглядела дорого. Как в витрине на Курфюрстендамм — длинная, гладкая, идеально очерченная, из тех, на которые оборачиваются, а потом делают вид, что не оборачивались. Только у тех, в кино, ляжки были как у коров. Молочных. Баварских. Ей бы аплодировали стоя.

Сняла. Свернула. Положила в комод, к панталонам и комбинации. К вещам, которые предназначались не ей. Кому-то, кто хотел видеть её в чужом белье из чужого времени.

Вилка воткнулась в сосиску. Кожица лопнула. Пар под-

нялся.

... Дверь открылась.

Не стук, не пауза — просто открылась, ровно, как открывается то, что никогда не было заперто. Она сидела на кровати, полубоком, кружка в руке — кофе, значит вечер. Или утро.

Повернула голову.

Узнала сразу. Скула — левая, высокая, точёная. Тот самый. Тот, перед кем не шевелились. Только белой туники не было. Рубашка — белая, хлопковая, расстёгнутая на две верхние пуговицы. Рукава закатаны до локтей — аккуратно, двумя оборотами. Тёмные брюки, ремень. Мужчина, который пришёл домой с работы и снял парадное.

Он не сказал ни слова. Прошёл к стулу, сел. Закинул ногу на ногу, одну руку положил на колено, другую — на спинку стула. Откинулся. Пальцы на спинке — длинные, голые, ухоженные. Печатки не было. Там, в зале, на указательном было тёмное золото с пирамидой, и эти пальцы брали парня за подбородок и наматывали её прядь. С печаткой он был тем, при ком не дышат. Без — кем-то, у кого нет имени.

Смотрел. На волосы. Не на лицо — на волосы. Она почувствовала это, как чувствуют чужую ладонь, которая ещё не легла, но уже нависла. Взгляд прошёлся по распущенным прядям — белым, льняным, тяжёлым, рассыпанным по плечам и спине, — и задержался. Как тогда, в зале. Как будто именно это он и пришёл увидеть.

Пауза. Длинная. Она держала кружку двумя руками, и пальцы чувствовали, как кофе остывает через стенку — медленно, ровно, как остывает всё в этом месте, где нет ни жары, ни холода. Она не знала, что делать. Встать? Заговорить? Там, в зале, он был в белом, с золотым диском на груди, и ему не говорили первыми. Здесь он был мужчиной в рубашке, и это было хуже, потому что с тем — в белом — есть дистанция, а с мужчиной в рубашке — нет.

Он показал глазами на кружку.

— Кофе?

Голос — тот же, низкий, с хрипцой. Немецкий. Простое слово — как будто они знакомы давно и он зашёл на минуту.

— Да. Хороший кофе.

Он кивнул. Медленно, соглашаясь.

— Клаус. Хороший повар. Нам с ним повезло. — Помолчал. — Может быть, тебе хочется чего-то особенного? Какого-нибудь разнообразия. Немецкая кухня — его конёк.

Она задумалась. Странное чувство — как будто кто-то спросил о любимом цвете посреди пожара.

— Лабскаус, — сказала. — Если сможет. С огурцом и сельдью. Как в Гамбурге.

Он чуть прищурился.

— Скажу ему.

Нам. Она вернулась к этому слову — оно зацепилось где-то и не отпускало. Нам с ним повезло. Нам — это кому? Ей и ему? Ей и остальным? Вопрос мелькнул и ушёл, потому

что он уже смотрел на неё снова — на волосы, на шею, на ключицу, — и от этого взгляда мысли путались, как нитки, которые дёрнули с обоих концов.

Пауза. Он чуть наклонил голову. Большой палец правой руки мерно постукивал по колену. Мелко. Привычно.

— Как ты умерла?

Она не сразу поняла, что услышала. Слова дошли с задержкой — как субтитры, которые отстают от картинки. Как ты умерла. Буднично. Как спрашивают «откуда ты» или «чем занимаешься». Как будто это нормальный вопрос, который задают за кофе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.